

Франсуа Фенелон

Телемак



Франсуа Фенелон

Телемак

«Public Domain»

1696

Фенелон Ф. д.

Телемак / Ф. д. Фенелон — «Public Domain», 1696

«Калипсо ничем не могла утешиться по разлуке с Улиссом. В горести она считала свое бессмертие казнью. Давно уже не было слышно песен в ее пещере, давно ее нимфы ничего не смели сказать ей. Часто она блуждала уединенно по цветистым лугам, которыми вечная весна одевала кругом ее остров, но и прелестные места не могли рассеять ее грусти, возбуждали еще в ней печальное воспоминание о том, как она бывала там вместе с Улиссом. Часто она стояла у моря долго и неподвижно и вся в слезах непрестанно глядела в даль бесконечную, где корабль Улиссов, рассекая волны, скрылся от ее взора...»

Содержание

Часть первая	5
Книга первая	5
Книга вторая	12
Книга третья	20
Книга четвертая	28
Книга пятая	36
Книга шестая	44
Книга седьмая	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Франсуа Фенелон

Телемак

Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатании представлено было в Цензурный комитет узаконенное число экземпляров.

С.-Петербург, июня 7 дня 1838 года. Цензор А. Никитенко

Часть первая

Книга первая

Телемак и Ментор выброшены бурей на остров Калипсо.

Богиня предлагает Телемаку бессмертие.

Он начинает рассказ о своем путешествии.

Опасности в Сицилии.

Ментор отражает нападение варваров на город Ацестов.

Отъезд из Сицилии.

Калипсо ничем не могла утешиться по разлуке с Улиссом. В горести она считала свое бессмертие казнью. Давно уже не было слышно песен в ее пещере, давно ее нимфы ничего не смели сказать ей. Часто она блуждала уединенно по цветистым лугам, которыми вечная весна одевала кругом ее остров, но и прелестные места не могли рассеять ее грусти, возбуждали еще в ней печальное воспоминание о том, как она бывала там вместе с Улиссом. Часто она стояла у моря долго и неподвижно и вся в слезах непрестанно глядела в даль бесконечную, где корабль Улисса, рассекая волны, скрылся от ее взора.

Вдруг она видит обломки разбитого корабля, доски переломленные, весла, выброшенные на берег, руль, мачту и разные снасти, поверх зыбей несомые к острову. Скоро завидела она вдали двух странников: одного в преклонных уже летах, другого при всем еще цвете юности, сходного с Улиссом приятностью и горделивой осанкой, ростом и величавою поступью, предугадала, что то был Телемак, сын мудрого героя. Но, хотя боги знают все и недоступное уму человеческому, она не постигала, кто бы был его спутник, почтенный сединою. Вышние боги блюдут в глубоком мраке от низших богов все, что им благоугодно, и Минерва, сопровождая Телемака во образе Ментора, не хотела вверить своей тайны Калипсо.

Невзирая на то, Калипсо радовалась несчастному случаю, который привел к ней на остров сына Улисса, во всем другого Улисса, спешила к нему навстречу и, не показывая и вида того, что знала, кто он, говорила:

– Какая дерзость – пристать к моему берегу! Юный странник! Знай, что никто еще не приходил безнаказанно в мою область.

Грозными словами она старалась прикрыть радость сердца, но все черты лица наперекор ей дышали радостью.

Телемак отвечал:

– О ты, смертная или богиня. Но кто пред лицом твоим не почтит божества в твоём образе? Можешь ли ты без сострадания видеть несчастного сына, который, странствуя по всем морям за отцом своим, сам стал игралищем вихрей и волн и у берегов твоих претерпел кораблекрушение?

– Кто твой отец? – спросила Богиня.

– Отец мой, Улисс, один из тех царей, – отвечал Телемак, – которые после десятилетней осады обратили в пепел гордую Трою. Вся Греция и Азия чтут его имя, славное мужеством в битвах, а еще более мудростью в советах. Теперь он, как изгнанник, переходит из моря в море, от одной ужасной пучины к другой ужаснейшей, ищет родной земли и не находит, Пенелопа, супруга, и я, сын его, мы потеряли всякую надежду соединиться с ним. Я, роком также гонимый, скитаюсь из страны в страну, не узнаю ли, где он. Но что говорю? Может быть, он давно уже в бездне моря. Сжался над несчастным, богиня! И если известна тебе воля судьбы, спасла ли она Улисса, обрекла ли на гибель: то возвести жребий отца сыну его, Телемаку.

Изумленная и растроганная столь зрелым разумом и витийством в нежном цвете юного возраста, Калипсо не отводила взора от Телемака и долго молчала. Потом говорила ему:

– Телемак! Я расскажу тебе все, что постигло отца твоего, но эта повесть потребует времени. Тебе нужен покой после страданий, иди ко мне в жилище, я приму тебя, как сына, пойдем, ты будешь отрадой мне, одинокой, счастье ждет тебя под моим кровом, умей только им воспользоваться.

Телемак пошел за богиней. Окруженная множеством юных нимф, она была выше их на целую голову, подобно тому, как великий дуб в лесу возносит выше всех вокруг его деревьев пышные ветви. Телемак не мог надивиться и блеску ее красоты, и великолепному багряному цвету длинной, сходящей долу одежды, и волосам, завязанным сзади с прелестной небрежностью, и взору, молнии подобному, и слиянной с огнем в глазах ее нежности. Ментор, безмолвный, с очами поникнувшими, смиренно следовал за Телемаком.

Достигли пещеры Калипсо. Телемак, изумленный, нашел там под кровом сельской простоты все, что могло пленить его взор. Не было там ни золота, ни серебра, ни мраморов, ни столбов, ни изваяний, ни живописи. Пещера в кремнистой горе устроена была в виде сводов, унизанных раковинами и камнями светящимися. Стены были одеты молодой виноградной лозой, расстилавшей равно во все стороны гибкие ветви. Кроткие зефиры сохраняли в ней при палящем дневном зное приятнейшую прохладу. Ручьи, с тихим шумом струясь по долинам, усеянным фиалками и амарантами, оставляли в разных местах заливами воды, прозрачные, как чистый кристалл. Зеленый луг, как широкий около пещеры ковер, был весь изукрашен цветами. Вдали виднелась роща, вся из тех тенистых деревьев, которые приносят золотые плоды, сменяют цвет новым цветом с изменением каждого времени года и разливают дух животворный. Венец прекрасных долин, она была посреди их, как царство ночи, недоступное солнцу. Слух пленялся пением птиц или внимал громам водопада, который сыпался сверху скалы клубами пены и бежал по лугам далеко от взоров.

Пещера была на скате холма. Представлялось оттоле глазам бесконечное море, то тихое и гладкое, как зеркало, то в бурной борьбе со скалами. Волны со стоном плескали в утесы и вновь поднимались, как горы.

С другой стороны извивалась река, островами усеянная. По злачным берегам их цветущие липы и высокие тополя гордо возносили под облака пышные ветви. Протоки, омыв острова, расходились вдоль по обширной равнине. В одном струи светлые быстро катились, в другом вода стояла, как усыпленная, иной, будто вспомнив об истоке, издавек обратно бежал и, казалось, расстаться не мог с волшебными берегами.

Вдали холмы и горы терялись в облаках и живописными изменениями представляли каждому взгляду новые виды. Ближние горы были одеты виноградными лозами, которые висели с дерева на дерево длинною цепью. Прозрачные, багровым соком тучные гроздья не могли скрыться под листьями, и лоза под тягостью плода клонилась долу. Смоковницы, масленичные, гранатовые, всех родов деревья составляли пространный сад по долине.

Калипсо, показав Телемаку все красоты своего острова, сказала ему: тебе нужно отдохновение, перемены одежду измокнувшую, после увидимся, и ты услышишь о таких происшествиях, каких не ожидаешь: сердце твое растрогается. И велела отвести его с Ментором

в уединенное место особой пещеры подле той, где сама обитала. Нимфы положили там для них одеяние и развели огонь из кедрового дерева: пещера наполнилась приятнейшим благоуханием.

Телемак, увидев оставленное для него одеяние, одно из тонкой ткани, превосходившей снег белизной, другое багряного цвета с богатым золотым шитьем, любовался этим великолепием с удовольствием, свойственным юноше.

– Такие ли мысли, Телемак, должны занимать сердце сына Улисса? – строгим голосом сказал ему Ментор. – Поддержать славу родителя, победить судьбу, тебя преследующую – вот что должно быть предметом твоих мыслей! Юноша, любящий, как женщина, драгоценное убранство, недостоин мудрости и славы. Слава есть достояние сердца, которое умеет страдать, отвергая забавы.

– Пусть снидет на меня гром с небес прежде, нежели неги и страсть к наслаждениям овладеют моим сердцем, – отвечал Телемак с глубоким вздохом, – Нет! Сын Улисс не поработит себя прелестям жизни позорной и сладострастной. Но каким небесным промыслом после несчастного крушения мы приведены к смертной или богине, осыпающей нас благодеяниями?

– Страшись, – прервал его Ментор, – чтобы она не ввергнула тебя в новые бедствия. Страшись обворожительных ее прелестей более, нежели камней под водой. Кораблекрушение, самая смерть не столь опасны, как удовольствия, подмывающие в нас добродетель. Не верь хитрым вымыслам. Юность высокомерна, возлагает всю надежду на свою крепость, слабая трость мечтает быть всемогущей и, никогда не пребывая на страже у сердца, легкомысленно отдает его всякому. Не внимай сладким и лстивым словам коварной Калипсо. Они будут вкрадываться в тебя, как змея под цветами. Трепещи тайного яда, не верь себе и ничего не начинай без совета твоего верного друга.

Потом они возвратились к богине, которая уже их ожидала. Немедленно нимфы, все в белой одежде и с волосами, заплетенными в косы, подали им яства простые, но приготовленные с отличным вкусом из птиц, пойманных сетью, и из зверей, убитых стрелами на ловле. Вино, приятнейшее нектара, переливалось из огромных серебряных сосудов в золотые чаши, цветами обвитые. Поставлены на стол корзины, полные отборных всякого рода плодов, которых предвестница молодая весна, и которые осень сыплет на землю щедрой рукой. Стали между тем петь четыре нимфы, цветущие юностью: пели прежде всего брань богов с исполинами, потом любовь Юпитера и Семелы, рождение Вакха, воспитание его под руководством престарелого Силена, бег Аталанты и Гиппомена, обязанного победой золотым яблокам из гесперидского сада, и, наконец, Троянский поход: до звезд превозносили ум и битвы Улиссы. Первая нимфа Левкотея с нежным голосом прочих соединяла звуки лиры.

Услышав имя отца своего, Телемак прослезился. Слезы, струясь по лицу, придали красоте его новое очарование. Но Калипсо, приметив, что он в крушении сердца забывал и голод и пищу, дала знак нимфам, и тотчас они воспели брань кентавров с лапитами и снисхождение Орфея в царство Плутонovo за Эвридикой.

После стола богиня, устранившись с Телемаком, говорила ему:

– Сын великого Улисса! Ты видишь, с каким отличием я принимаю тебя. Я бессмертна. Никто из земнородных, ступив на мой остров, не может избежать гнева, карающего такую дерзость. И тебя самое кораблекрушение не оградило бы от моего негодования, если бы я не любила тебя. Отца твоего ожидало такое же счастье, но он не умел им воспользоваться. Я долго удерживала его у себя на острове. От него зависело наслаждаться со мной бессмертной жизнью.

Ослепленный желанием возвратиться в бедное отечество, он отвергнул все мои предложения. Ты видишь, чего он сам себя лишил для Итаки, – и то напрасно, он и не видел Итаки, покинув меня, он пошел по волнам, но месть была недалеко: поднялась буря, корабль его, долго быв игралищем вихрей, погряз в пучине. Печальный пример тебе в наставление! Что остается тебе после судьбы, постигшей Улисса? Вся твоя надежда некогда соединиться с ним

или наследовать по нем державу в Итаке исчезла. Но утешься. Ты не останешься си ротой, потеря отца твое счастье: богиня готова устроить твою участь, ты находишь царство, которое она тебе предлагает.

Потом она еще описывала ему в длинном рассказе, как Улисс был счастлив под ее кровом, представила плен его в пещере ужасного циклопа Полифема и бедствия, претерпленные им у берегов Антифата, царя Лестригонского, вспомнула о всех происшествиях на острове Цирцеи, дочери солнца, и о всех опасностях, которым он подвергался между Харибдой и Сциллой, изобразила и последнюю бурю, воздвигнутую в казнь ему Нептуном, когда он оставил ее остров, хотела уверить Телемака, что отец его был жертвой бури, и умолчала о прибытии его в Феакию.

Восхищенный отличным приемом, упоенный сначала радостью, Телемак, наконец, разгадал коварство Калипсо и восчувствовал мудрость Менторовых наставлений. Он отвечал кратко:

– Богиня! Прости мои скорби. Горе подавляет во мне всякое чувство. Может быть, время даст мне более силы воспользоваться твоим даром. Позволь мне теперь оплакать отца: ты знаешь лучше меня, сколь он того достоин.

Калипсо тотчас не смела противоречить, и даже, под притворным видом участия в горести сына, сострадала с ним об отце. Но, чтобы видеть, чем удобнее могла поколебать юное сердце, спросила Телемака, как он претерпел кораблекрушение и какими судьбами брошен на ее берег.

– Повесть о злополучии моем будет весьма продолжительна, – отвечал он.

– Нет! Нет! – возразила Богиня, – Я жажду знать твое странствование, теперь же, теперь же расскажи мне свое путешествие.

Долго молила его, наконец, он не мог ничего уже сказать на ее убеждения и начал так свою повесть:

– Я оставил Итаку, чтобы узнать о жребии отца своего от прочих царей, возвратившихся из-под Трои. Преследователи моей матери поражены были неожиданным моим отсутствием: я скрывал от них свое намерение, зная их вероломство. Нестор, которого нашел я в Пилосе, и Менелай, принявший меня дружественно в Лакедемон, не могли мне сказать, жив ли еще отец мой. Утомленный неизвестностью и непрерывными сомнениями, я решился идти в Сицилию: промчалась тогда молва, что отец мой занесен туда бурей. Мудрый Ментор, мой спутник, не одобрял этого дерзкого предприятия, представлял мне с одной стороны циклопов, ужасных исполинов, людоедов, с другой – корабли Энеевы и троян на берегах сицилийских.

– Трояне, – говорил он, – враги греческого племени, какое же торжество для них будет пролить кровь сына Улисса? Возвратись в Итаку, – продолжал он. – Может быть, отец твой под кровом богов прибудет туда вслед за тобой. Но если бы и суждено было ему погибнуть и никогда уже не видеть отечества, то все дол г твой отмстить за него, избавить мать от преследований, показать ум свой народам, показать Греции образ царя, достойного царствовать, – нового Улисса.

Спасительное предвозвещение! Но, ослепленный, я не внял ему, внимал своей страсти. Мудрый Ментор простер любовь ко мне до того, что согласился быть моим спутником в дерзком, предпринятом вопреки всем его советам странствовании. И боги пустили мне преткнуться, чтобы падением смирить мое высокомерие.

Так говорил Телемак. Калипсо между тем обращала взоры на Ментора и изумлялась. Она предугадывала, чувствовала в нем божественную силу, но не могла сообразить смутных своих мыслей, от подозрений к страху, от страха к подозрениям переходила перед таинственным странником, наконец, боялась показать тревогу души и говорила:

– Продолжай, Телемак, свою повесть, удовлетвори моему любопытству.

Он продолжал:

– Довольно долго мы имели по пути в Сицилию ветер благоприятный. Но скоро черная туча расстлалась по всему небу, и ночь раскинула вокруг нас мрачные тени. Под заревом молний мы увидели другие корабли, также в опасности, и тотчас заметили, что то были корабли Энеевы, – камни в пучине были бы для нас менее страшны. Тогда, но уже поздно, я увидел свое заблуждение, которого прежде легкомысленная юность, слепая в пылком порыве, не дала разглядеть мне с должным вниманием. Наступившее бедствие Ментор встретил не только с бесстрашной твердостью, но даже с необыкновенным в лице весельем, ободрял меня, оживлял дух мой непреодолимой силой и спокойно давал повеления вместо унылого кормчего. Я говорил ему:

– Любезный Ментор! Зачем я не внял твоим наставлениям? Я несчастлив: положился сам на себя в таком возрасте, когда нет в человеке ни прозрения в будущее, ни опыта в прошедшем, ни в настоящем скромного благоразумия. Ах! Если теперь удастся нам спастись от бури, никогда и ни в чем уже не поверю себе, как опаснейшему врагу своему. Любезный Ментор! Тебе во всем буду повиноваться.

Он отвечал мне с улыбкой:

– Я не стану упрекать тебя в погрешности, довольно того, что ты сам ее чувствуешь, и пусть она научит тебя сдерживать впредь свои желания. Но когда пройдет опасность, высокомерие, может быть, снова возникнет. Теперь надлежит вооружиться великодушным терпением. Прежде, чем подвергнешься опасности, надобно предусматривать, бояться ее. Но когда она настигнет, тогда одно оружие – преодолевать ее мужественно. Будь сыном, достойным Улисса, вознесись сердцем выше беды.

Я восхищался непоколебимым спокойствием мудрого Ментора, но как удивился, когда увидел, с каким искусством он избавил нас от рук неприятельских! Как только из-за туч показалось ясное небо, так, что трояне, уже вблизи, легко могли узнать нас, он завидел вдали один из их кораблей, сходный по всем почти с нашим: буря отдалила его от прочих. На корме у них цветы были подняты. Он поднял и у нас на корме венки из цветов, сам увязал их тканями такого же цвета, какие развевались на том корабле, и, чтоб неприятель не мог узнать нас по гребцам, велел им наклониться. Посредством этой хитрости мы прошли между их кораблями. Приняв врагов за товарищей, которых почитали жертвой моря, они встретили нас радостным криком. Увлеченные стремлением вод, мы принуждены были долго плыть с ними вместе, наконец, отстали от них. Бурный ветер обратил их между тем к Африке, а мы истощили последние усилия, чтобы на веслах достигнуть ближайшего берега Сицилии.

Достигли, но не на радость: рать, которой мы убегали, и самое убежище равно для нас были пагубны. Мы нашли в той стороне Сицилии иных троян, но ту же вражду против греков. Там царствовал престарелый Ацест, переселившийся из Трои. Лишь только вышли мы на берег, они приняли нас за других ли того же острова жителей, неожиданных врагов, или за иноземцев, коварных гостей: в первом порыве гнева предают корабль наш огню, всех наших спутников – смерти, оставляют в живых меня и Ментора, но только для того, чтобы представить Ацесту и допросить нас, откуда мы и с каким намерением пристали к их берегу. Связали нам руки, мы входим в город, и казнь наша, потешное зрелище рассвирепевшему народу, отложена только до удостоверения в том, что мы греки.

Привели нас к Ацесту. С золотым жезлом в руке, он судил тогда подданных и приготовлялся к какому-то особенному жертвоприношению. Грозным голосом он спросил нас, откуда мы и зачем прибыли?

– Мы пришли с берегов великой Гесперии, и отечество наше недалеко оттоле, – отвечал Ментор. Таким образом он умолчал о том, что мы греки. Но царь, отвратив от него слух и приняв нас за чужеземцев, опасных тайными замыслами, велел сослать нас в леса, где под властью главных стражей его стад мы должны были служить как невольники.

Эта участь в глазах моих была мучительнее всякой казни. Я тут же сказал:

– Государь! Предай нас смерти, но не позорному рабству. Знай, что я – Телемак, сын мудрого Улисса, царя Итакского. Я ищу отца по всем морям. Если уже судьба не велит мне ни увидеть родителя, ни возвратиться в отечество, ни избавиться от рабства, то прекрати мою жизнь – убийственное бремя.

Сказал я – и вдруг весь народ, запывав гневом, обрек единогласно на смерть сына того бесчеловечного, как они вопили, Улисса, которого хитростью пали стены Трои.

– Сын Улиссов! – говорил мне Ацест. – Тени витязей несчастной Трои, низринутых отцом твоим на берега мрачного Коцита, требуют твоей крови. Ты и наставник твой, оба вы должны погибнуть.

Тогда старец из толпы народа предложил царю заковать нас на гробе Анхизовом. Кровь их, говорил он, будет приятна его тени. Сам Эней, услышав о такой жертве, отдаст справедливость твоей любви к тому, кто был для него драгоценнее всего на свете.

Народ отвечал громкими рукоплесканиями, алкая нашей крови. Повели нас ко гробу Анхизову, поставили там два жертвенника, зажгли на них священный огонь, возложили на нас венки из цветов, роковая секира сверкала у нас перед глазами, никакое сострадание не могло уже быть нам заступником, час наш ударил. Вдруг Ментор, с лицом светлым, испросив дозволение, обратился к царю и говорил:

– Великий царь, если несчастная доля юного Телемака, который никогда не обнажал меча против Трои, не может вселить сострадание в твоё сердце, то пусть преклонит его на жалость ваша собственная польза. Дар прорицания и предвидения воли богов открывает мне, что еще до истечения трех дней вы увидите свирепый и дикий народ у себя под стенами. Он идет уже с гор, как быстрый поток, чтобы вторгнуться в ваш город, расхитить всю вашу область. Не медли, предупреди нападение, вооружи своих подданных, спеши собрать стада из окрестностей. Окажется мое предсказание ложным – жизнь наша по истечении трех дней в твоей власти, сбудется – тогда вспомни, что не должно отнимать жизни у тех, кому мы ею обязаны.

Ацест, изумленный, безмолвно внимал прорицанию. Ментор говорил ему с уверенностью, совсем для него новой. Царь сказал:

– Странник! Боги, даровав тебе скудную долю счастья, ниспослали за то тебе мудрость, драгоценнейшую сокровищ.

И отложив жертвоприношение, немедленно устроил все меры защиты против нашествия варваров, предвозвещенного Ментором.

Стекались со всех сторон в город женщины в трепете, старцы с поникнувшими головами, дети с плачем и воплем. Стадами с тучных лугов приходили волы с томным ревом и овцы с жалобным блеянием, оставаясь без крова и сени. Везде раздавался крик унылого страха, жители в отчаянии преследовали друг друга толпами, один другому не внемля, неизвестного в смутной тревоге считали за друга, и мчались, не зная куда. Но знатнейшие граждане, надменные мнимой прозорливостью, думали, что Ментор был льстец, вымысливший ложное предсказание для спасения жизни.

Спокойно они оставались в этих мыслях как вдруг перед истечением третьего дня пыль за клубилась на окрестных горах, засверкало оружие, толпа тянулась, как темная туча. То были гиммерияне, свирепое племя, и с ними дикие с хребтов Невродских и с Акрагской горы, где царствует зима, одетая вечными льдами. Презревшие предсказание Менторово лишились и стад, и рабов. Царь говорил ему: я забываю, что вы греки, вижу в вас не врагов, а верных друзей, вас Боги послали спасти нас от гибели. Довершите мудрые советы мужеством в опасности: подайте нам руку помощи.

Смотрю я на Ментора: вижу доблесть ратоводца в глазах его. Самые смелые витязи стояли перед ним, как пораженные. Он, надев шлем, берет меч, и щит, и копье, строит дружину воинов Ацестовых, сам идет впереди и бодрую рать ведет прямо против неприятеля. Ацест, здоровый рвением, но ветхий летами, издали едва за ним следует. Я, хотя шел по следам его,

но также далек был от него в мужестве. Броня его в битве блистала, как бессмертный эгид¹. Под сильными ударами меча его смерть перебегала из строя в строй, как лев нумидийский, когда он, томимый голодом, встретит стадо слабых овец, рвет их, терзает, плавает в крови: пастухи в трепете, покинув стадо без защиты и помощи, бегут от его ярости.

Барвары, мнив найти открытый путь в сердце города Ацестова, дрогнули, изумленные сопротивлением. Рать, предводимая Ментором, его примером, его голосом оживляемая, ударила на врагов против собственного чаяния с невероятной храбростью. Я сразил сына царя их. Он был моих лет, но ростом выше меня: народ тот есть отрасль исполинов, одноплеменных с циклопами. Могучий, он презирал во мне слабого соперника, но я, не ужасаясь ни великой силы, ни дикого, зверообразного вида его, копьем пронзил его в сердце. Он рухнул и черную кровь ручьем изрыгнул с последним дыханием: едва не подавила меня громада низринувшаяся. Звук его оружия отгрянул между горами. Я снял с него доспехи и возвратился с ними к Ацесту. Ментор, смяв неприятелей, трупам их устлав поле битвы, гнал обращенные в бегство толпы до отдаленного леса.

Молва, удивленная столь блистательным и неожиданным успехом, ославила Ментора любимцем богов, мужем, свыше вдохновенным. Ацест, исполненный благодарности, изъявил беспокойство о жребии нашем, если Эней прибудет с войском в Сицилию. Дав нам корабль и осыпав дарами, он молил нас идти немедленно в отечество и тем спастись от близкого бедствия. Не отпустил однако же с нами ни кормчего, ни гребцов из своих подданных, боясь подвергнуть их опасностям на берегах Греции, а отправил купцов финикийских, по торговле со всеми народами везде ограждаемых правом полной свободы. Они обязались возвратить ему корабль по прибытии нашем в Итаку. Но Боги, всегда играя советами смертных, готовили нам новые несчастья.

¹ В переносном смысле – защита, покровительство; в древнегреческой мифологии – сделанный Гефестом щит бога-громовержца Зевса, а также его дочери Афины Паллады. – *Прим. изд.*

Книга вторая

Телемак в плену у египтян.

Богатство Египта и мудрое правление Сезострисова.

Разлука с Ментором.

Ссылка Телемака в пустыню.

Встреча его со жрецом Аполлоновым.

Преобразование диких нравов.

Возвращение Телемака из ссылки.

Смерть Сезостриса.

Заключение Телемака в темницу.

Падение сына Сезострисова.

Тиряне гордостью оскорбили великого Сезостриса, царя Египетского, славного завоеваниями. Надменные богатством, приобретенным торговлей, и неприступными посреди моря твердынями Тира, они перестали платить дань, наложенную на них Сезострисом, и войском своим помогали его брату в заговоре, которого цель была умертвить царя на торжественном пиршестве.

Чтобы смирить их гордость, Сезострис решил теснить их в торговле. Корабли его, рассеявшись, везде искали финикиян. Египтяне встретили и нас на пути, как только мы начали терять из вида горы сицилийские. Пристань и берег, как будто обратясь в бегство, уходили от нас за дальние тучи. Вдруг их корабли показались: город плыл к нам навстречу. Узнав их, финикияне хотели от них удалиться: труд бесполезный и поздний! Гребцов у них было более, снасти лучше наших, и ветер им благоприятствовал: нас окружают, берут в плен и обращаются в Египет.

Напрасно я представлял им, что мы не финикияне. Не внемля моим уверениям, они приняли нас за невольников, которыми тиряне торгуют, и расчисляли уже только цену добычи. Показались нам между тем струи Нила, как белая пелена по синему морю, и берег отлогий, почти вровень с водой, потом пристали к острову Фаросу в недалеком расстоянии от города Но, а оттуда поплыли по Нилу вверх до Мемфиса.

Если бы горесть плена не сделала нас бесчувственными ко всем удовольствиям, то мы переходили бы от восторга к восторгу, обозревая плодоносную землю Египетскую, – обвожительный сад, омываемый несчетными протоками. Поминутно представлялись взорам по берегам то города, один другого великолепнейшие, то сельские дома на прелестных местах, то поля, одетые тучной жатвой, то луга с бесчисленными стадами, то земледельцы с несметным богатством даров неистощимой природы, пастухи, которых веселые песни со звуками свирелей откликались в окрестностях.

– Счастлив народ, управляемый мудрым государем! – говорил Ментор. – Он в изобилии, благоденствует и любит того, кому обязан своим благоденствием. Царствуй так и ты, Телемак, – присовокупил он, – будь отрадой подданных, если некогда боги возведут тебя на престол отца твоего. Люби народ, как детей своих, любовь народа пусть будет для тебя лучшей утехой, пусть он невольно при каждом ощущении мира и радости воспоминает, что получил от доброго царя своего в дар эти сокровища, драгоценнейшие золота. Цари, сильные страхом, жезлом железным пасущие подданных, чтобы они под ярмом были покорнее, – бичи рода смертных: они достигают своей цели, страшны, но и проклинаемы, и ненавидимы. Трепещут их подданные, но сами они должны стократно более трепетать своих подданных.

– Нам ли думать о правилах, как царствовать должно? – отвечал я Ментору. – Мы навеки удалены от Итаки, не видеть уже нам ни отечества, ни Пенелопы, и если бы даже Улисс возвратился некогда в свою область, увенчанный славой, он не будет иметь утешения обнять сына,

а я не буду иметь счастья повиноваться ему и от него научиться искусству правления. Умрем, любезный Ментор! Вот одна мысль, которая вам еще предоставлена! Умрем, когда нас и боги забыли!

Глубокие вздохи прерывали в устах моих каждое слово. Но Ментор, боясь временно опасности, бесстрашно смотрел на грозную тучу, когда она находила.

– Недостойный сын мудрого Улисса! – говорил он мне. – Неужели ты упал духом в несчастье? Возвратишься в Итаку, увидишь Пенелопу, увидишь и того в прежней славе, кого еще не знаешь, – непобедимого Улисса, которого сама судьба не преоборает, и который посреди зол, превосходящих все твои бедствия, учит тебя выстрадать победу терпением, но не предаваться унынию. Что, если он услышит на чужой стороне, куда занесла его буря, что сын его не умеет подражать ему ни в доблести, ни в великодушии! Такая весть покроет его вечным стыдом, будет для него убийственнее всех, столь давно им переносимых несчастий.

Потом Ментор изображал мне богатство и радость по всему царству Египетскому, где считалось до двадцати двух тысяч городов, с восторгом описывал строгое в них благоустройство, правосудие, – верный щит бедному от силы богатого, воспитание юношества в повиновении, в трезвости, в трудах, в любви к наукам и искусствам, ненарушимое наблюдение обрядов богослужения, бескорыстие, рвение к истинной чести, верность к людям и страх к богам, которые каждый отец внушал своим детям, не истощался в прославлении столь благотворных установлений.

– Счастлив народ, – повторял он, – управляемый мудрым государем, но несравненно счастливее сам государь, который зиждет счастье народа, а свое находит лишь в добродетели! Он связывает людей узами, стократно надежнейшими страха, – узами любви. Всяк не только покорен, но рад ему повиноваться. Он – царь у каждого в сердце, всех одна мысль – не освободиться от его власти, но быть вечно под его властью: каждый готов положить за него свою душу.

Приклоняя слух и внимание, чувствовал я, что слова мудрого друга восставляли дух мой, изнемогавший.

По прибытии в Мемфис, город богатый и великолепный, мы получили повеление следовать в Фивы, чтобы представиться Сезострису. Он всегда во все сам входил, а тогда еще был раздражен против тирян. Поплыли мы вверх по реке до славных стовратных Фив, где царь тогда имел пребывание. Этот город показался нам пространнейшим и многолюднейшим самых цветущих городов греческих. Порядок в нем совершенный, чистота улиц, водохранилища, устройство бань, свобода промышленности, общее спокойствие – все достойно удивления. Площади украшены водометами и обелисками, храмы мраморные просты, но величественны. Царский дворец – сам по себе уже город. В нем на каждом шагу мраморы, пирамиды, обелиски, огромные истуканы, серебро и золото.

Взавшие нас в полон донесли царю, что мы найдены на корабле финикийском. Сезострис ежедневно в известные часы принимал всякого, кто хотел представить ему или жалобу, или полезное сведение, никого не презирал, никому не затворял своей двери, думал, что он царь только для блага подданных: они были его любимое семейство. Иноземцев он также принимал благосклонно и к себе допускал, полагая, что познание нравов и законов отдаленных стран всегда полезное приобретение.

Любопытство его было поводом, что и мы ему были представлены. Он сидел на престоле слоновой кости с золотым царским жезлом в руке, был уже в преклонных летах, на лице его написаны были величие, благодать и кротость. Ежедневно он судил подданных с терпением, разумом и правотой, без лести достойными славы, день проводил в разрешении дел с нелицеприятным правосудием, а вечерним его успокоением была беседа с людьми учеными или отличными доблестью, тех и других он имел дар избирать в свое общество. На светлый путь его жизни бросают тень только тщеславие его при торжестве над побежденными царями и доверие к одному из царедворцев. Возрев на меня, он изъявил сострадание к моей молодости, спро-

сил меня об имени и об отечестве. Мы смотрели на него с удивлением, устами его мудрость говорила.

– Великий царь, – я отвечал ему, – тебе известны десятилетняя осада и падение Трои, омытой греческой кровью. Улисс, отец мой, был один из главных царей, разрушителей этого города. Он теперь странствует по всем морям и родной своей земли не находит; я ищу его, и судьба отдала меня в неволю. Возврати меня к отцу и в отечество. Боги да сохранят тебя за то для детей твоих, а они пусть никогда не знают горести жить в разлуке с отцом.

Сезострис долго смотрел на меня с соболезнованием, но для удостоверения в истине слов моих послал нас к одному из царедворцев и возложил на него узнать от египтян, которые взяли нас в плен, подлинно ли мы греки или финикияне.

– Если они финикияне, – говорил царь, – то будут сугубо наказаны, как враги, дерзнувшие сверх того на подлую ложь и на обман. Но если они греки, то я желаю оказать им благоволение, отослать их в отечество. Я люблю Грецию. От египтян она получила законы. Известна мне доблесть Геркулесова. Слава Ахиллова достигла даже до наших пределов. Я всегда удивлялся сказаниям о мудрости несчастного Улисса. Удовольствие мое подавать руку помощи страждущей добродетели.

Царедворец, которому вверено было исследование нашего дела, имел душу столько же низкую, хитрую, сколько сердце Сезострисово было великодушно и искренно. Метофис, так его имя, старался смешать нас в допросах, и как Ментор отвечал ему с мудрой твердостью, то он отвращал от него слух с презрением и недоверчивостью. Злые обыкновенно ожесточаются против добрых. Наконец, он разлучил нас, и с той поры я ничего не знал о Менторе.

Разлука с ним как гром поразила меня. Метофис, допрашивая нас порознь, надеялся исторгнуть от нас разногласные показания. Более всего он думал, ослепив меня лъстивыми обещаниями, заставить объявить тайны, умолчанные Ментором, одним словом, он не шел к истине честной дорогой, а только изыскивал способ уверить царя, что мы финикияне, и умножить нами число рабов своих; и подлинно успел обмануть Сезостриса, невзирая на прозорливость его и нашу невинность.

Каким опасностям подвержены государи! Самые мудрые из них часто попадают в сети. Коварство и алчность всегда у подножия трона. «Люди благолюбивые ожидают или уходят, они не льстецы и не наглы. Злые, напротив того, дерзки и хитры, неотступны и вкрадчивы, раболепны, лицемеры, готовы на все против чести и совести, когда дело идет об угождении сильному. Бедственная доля – быть игрищем злого коварства! И горе царю, когда он не гонит от себя лести и не любит тех, кто смелым голосом говорит ему правду!» Так я размышлял в новом несчастье вспоминая все, что слышал от Ментора.

Между тем Метофис послал меня в отдаленные горы, на острова песчаного моря, ходить там в толпе рабов за бесчисленными его стадами.

Здесь Калипсо остановила Телемака.

– Желала бы я знать, – она сказала ему, – что ты предпринял в заточении, ты, который прежде в Сицилии предпочитал смерть позорному рабству?

– Несчастье мое с дня на день возрастало, – отвечал Телемак, – я даже лишился и той жалкой отрады, чтобы выбрать любое, смерть или рабство. Рабство было непреложным моим жребием, надлежало мне выпить всю чашу злого рока. Вся надежда моя исчезла, я не мог и подумать о свободе. Ментор, как он после сказывал мне, проданный купцам, был с ними в Аравии.

Приведен я в ужасную пустыню: кругом во все стороны идут бесконечные равнины – океан палящих песков, а на островах того страшного моря хребты гор – царство вечной зимы, обложены снегом и льдами. Пастбища для стад встречаются только между скалами по скату гор недоступных. Солнце едва проникает в непроходимые ущелья.

В этой пустыне я нашел одних пастухов, достойных ее по дикой грубости нравов, ночью оплакивал свое горе, а днем гонял стадо на пажити, избегая свирепства раба, начальника нашего, именем Бутис, который, надеясь купить себе свободу непрестанной на других клеветой, хотел доказать тем господину любовь и усердие к его выгодам. Пал я под тяжелой рукой судьбы, и однажды, убитый горестью, покинул стадо, лег на траве у подошвы горы возле пещеры, и ожидал уже смерти: страдания превышали все мои силы.

Вдруг я заметил, что гора зашаталась. Дубы и сосны, казалось мне, сходили с чела ее надол, и ветер стих, и все замолкло. Внезапно раздался не голос, а гром из пещеры.

– Сын мудрого Улисса! – говорил голос. – Ты должен, как и отец твой, возвеличиться терпением. Царь, неискушенный бедой, всегда счастливый, недостоин такой доли – уснет в прохладах роскоши, забудется от гордости. Благо тебе, если ты преодолеешь свои несчастья, и пусть они пребудут навсегда в твоей памяти! Ты возвратишься в Итаку, и слава твоя до звезд вознесется. Но на престоле вспомни, что ты был также беден и слаб и страдал, как другие. Утешайся облегчением скорбей, люби народ свой, заграждай слух от лести, и знай, что величие твое будет измеряемо кротостью и силой души в победе над страстями.

Божественные глаголы проникли в мое сердце, в нем воскресли мужество и радость. Я не чувствовал здесь того ужаса, от которого волосы на голове горой стоят, кровь стынет в жилах, когда боги являются смертным. Встал я спокойно, пал на колена, воздел руки к небу, благословлял Минерву, приписывая ей предсказание, – и в тот же час обратился в иного человека. Мудрость озарила мой разум, я исполнился силы укрощать свои страсти, обуздывать стремления юности. Пастухи полюбили меня. Кротостью, терпением, ревностью в исполнении должности я смягчил наконец и жестокого Бутиса, начальника над рабами, дотоле моего притеснителя.

В горестном плену и заточении я искал книг для рассеяния мыслей. Скука снедала меня от того, что к подкреплению духа не было у меня никакого наставления. Счастлив тот, говорил я тогда, кто отвергает шумные увеселения и умеет довольствоваться приятностями невинной жизни! Счастлив, кто находит забаву в учении и обогащает ум свой познаниями! В какую бы страну превратная судьба ни занесла его, верные его собеседники с ним неразлучно. Других скука гложет посреди наслаждений, любителям чтения она неизвестна в глубоком уединении. Счастлив, кто любит чтение, и не лишен, как я, всех к тому способов!

В печальной думе однажды я зашел в середину темного леса и вдруг встретил старца с книгой в руке. На большом, совсем обнаженном челе его лета оставили след по себе легкими морщинами, седая борода сходила до чресл его, он был роста высокого и величавого, на лице не совсем еще увял цвет бодрой юности, быстрые очи, казалось, проникали в сокровеннейшие помыслы, голос его был голосом кротости, беседа пленяла простотой. Я никогда не встречал столь почтенного старца. Термозирис – так его имя – был жрец Аполлонов и служил богу в мраморном храме, сооруженном в той дубраве царями египетскими. Книга в руке его заключала в себе собрание песней в честь богов.

Подошел он ко мне с дружеским приветствием, и мы долго разговаривали. Он описывал события протекших времен с таким чувством, что они будто тогда же происходили перед глазами, но повести его, всегда краткие, не утомляли. Глубокая мудрость, которой он познавал человека и склонность его сердца, провидела будущее.

При всем том он был любезен и весел. Самая счастливая молодость не может иметь столько приятства, сколько он имел в маститой старости. Он потому любил и юношей, когда они были преклонны к добродетели и внимали благим наставлениям.

Скоро Термозирис полюбил меня со всей нежностью, снабдил книгами для утешения в грусти и называл меня сыном. Часто и я говорил ему:

– Любезный отец! Боги, отняв у меня Ментора, умилились, даровали мне в лице твоим новую подпору.

Он читал мне свои песни, доставлял творения и других любимых музами песнопевцев. Как Лин или Орфей, без сомнения, он был водим духом свыше. Когда, бывало, он, надев длинную и, как снег, белую ризу, начнет бряцать по струнам лиры из слоновой кости, то медведи, тигры и львы приходили с кроткой лаской лизать ему ноги, сатиры стремились из дебрей скакать близ него по зеленому лугу, деревья, мнилось, одушевленные, слушали, казалось, даже камни, смягченные, сходили с гор на волшебные звуки. Он пел всегда только величие богов, доблесть героев и мудрость мужей, предпочитающих истинную славу праздным забавам.

Часто он советовал мне противопоставить мужество гонению счастья, предсказывая, что боги не оставят ни Улисса, ни сына его. Наконец он уверил меня, что я должен был, по примеру Аполлона, образовать умы и сердца пастухов той дикой пустыни.

– Аполлон, – рассказывал он, – вознегодовав на Юпитера за то, что тот в самые красные дни смущал небо громом и молниями, излил свое мщенье на циклопов, ковавших перуны² для Громодержца, поразил их стрелами. Тогда Этна перестала изрыгать пламя и тучи дыма, замолкли удары тех страшных молотов, которых звуком оглашались подземные пропасти и неизмеримые бездны морские. Медь и железо, без циклопов осиротевшие, ржавели. Раздраженный Вулкан оставляет свой горн, хромоногий, спешит на Олимп, является в соборе богов и приносит горестные жалобы, покрытый пылью и потом. Юпитер в гневе на Аполлона изгнал его с неба и низринул на землю. Колесница его, никем не управляемая, сама по себе совершала все дневное течение, производя для смертных дни и ночи и правильное изменение времен года.

Аполлон принужден был принять на себя вид пастуха и ходить за стадами у царя Адмета. Он играл на свирели, и все пастухи собирались на берег светлого источника, под тенистые кроны вязов слушать его песни. Они вели до той поры дикую, зверообразную жизнь, умели только ходить за овцами, стричь, доить их и из молока составлять сыр себе в пищу: страна их была страна ужаса.

Аполлон в короткое время показал им искусство приятного препровождения жизни: пел им весну, как она сплетает себе венки из цветов, как от прикосновения ног ее земля зеленеет, как она дышит благоуханием, пел и прелестные летние ночи, когда зефиры прохлаждают утомленного человека и небо дождит на землю благотворной росой, и златовидные плоды – дар щедрой осени в возмездие за труд земледельцу, и спокойствие зимы, когда резвые юноши пляшут у огня хороводом, и мрачные леса – убранство гор и холмов, и темные дебри, где гремучие потоки играют между цветущими берегами. Так он внушал пастухам прелести сельской жизни для тех, кто умеет чувствовать волшебную красоту природы.

И скоро пастухи со свирелями стали счастливее сильных земли, и непорочные удовольствия, избегая позлащенных чертогов, никогда не уходили из-под их смиренного крова. Игры, смех и приятности не расставались с невинными пастушками. Каждый день был у них праздником. Раздоры смолкли, и вместо того везде были слышны то нежные голоса птиц, то тихий шум зефиров между древесными ветвями, то журчание светлых водопадов, то песни, вдохновенные музами пастухам, покорным Аполлону. Он установил у них почести за быстроту бега и учил их поражать стрелами серн и оленей. Боги наконец позавидовали пастухам, находили в их жизни более наслаждений, чем во всей своей славе, и воззвали на Олимп Аполлона.

Сын мой! Эта повесть должна быть тебе в наставление. Жребий твой подобен участи небесного изгнанника. Возделывай и ты, по примеру его, дикую землю. Пусть эта пустыня расцветет от труда рук твоих. Возвести пастухам сладкие плоды согласия, укрощай свирепые нравы, покажи им любезную добродетель, дай им восчувствовать, сколь приятны в уединении невинные удовольствия, никогда и никем неотъемлемые. Придет время, сын мой! Придет время, когда ты в трудах и скорбях, облегающих царский венец, на престоле пожалеешь о жизни пастушеской.

² Иносказательно: молнии, громовые стрелы. – Прим. изд.

Так говорил Термозирис, и потом дал мне столь нежную свирель, что звуки ее, повторяясь в горах и дубравах, в короткое время привлекли ко мне всех пастухов из окрестностей. Сила божественная была в моем голосе. Вдохновение свыше, восторг возбуждал меня петь красоты, которыми природа покрыла лицо земли. Совокупное пение продолжалось у нас по целому дню до позднего вечера. Все пастухи, каждый забыв и стада, и хижины, восхищенные, неподвижно внимали моим наставлениям. Печальная пустыня преобразилась. Все было тихо, все веселилось, кротость жителей смягчала, казалось, самую землю.

Часто мы собирались для жертвоприношения к Термозирису в храм Аполлонов. Пастух в честь богу приходил в лавровом венке, а пастушка, вся в цветах, приносила на голове корзину с дарами на жертву. Жертвы оканчивались сельскими праздниками. Молоко резвых коз и смиренных овец, которых мы сами доили, плоды, сорванные собственными руками: виноград, финики, смоквы, – были для нас роскошными яствами. Места, где мы сживали, были из дерна, а густые тени деревьев были для нас кровом, приятнейшим золотых сводов в царских чертогах.

Имя мое, наконец, еще более прославилось между пастухами, когда однажды лев, томимый голодом, бросился на мое стадо. Несколько овец лежало уже растерзанных. В руке у меня было слабое оружие – посох, но я смело иду на алчного зверя. Он трясет длинной гривой, кажет мне зубы и когти, раскрывает засохшую, пламенную челюсть, сверкает очами, кровью налившимися, бьет хвостом себя в ребра. Я повалил его наземь. Броня на мне, по обычаю пастухов египетских, не дала ему растерзать меня. Трижды я сбивал с ног его надол, трижды он поднимался, оглашая леса ужасным рыканием. Наконец я задушил его, стиснув за горло руками. Пастухи, свидетели моей победы, требовали, чтобы я надел на себя шкуру лютого зверя.

Молва об этом происшествии и о счастливом преобразовании диких нравов промчалась по всему Египту, достигла Сезостриса. Он узнал, что один из двух пленников, принятых за финикиян, водворил золотой век в пустыне, прежде необитаемой, и захотел меня видеть: он любил науки, и все, что способствовало просвещению народа, приятно было великому его сердцу. Я вызван. Царь выслушал меня с благоволением, увидел, что Метофис обманул его из подлого корыстолюбия, осудил его на вечное заключение в темнице и лишил всех богатств, собранных неправдами.

– Несчастен тот, – говорил он, – кто на престоле! Часто не может он видеть истины собственными глазами, окружающие заграждают ей все к нему входы. Каждый находит в обмане царя свою пользу. Алчное властолюбие кроется под личиной усердия, благовестят любовь к государю, а в сердце таится любовь к богатствам, которые он расточает. Он сам так мало любим, что милости его покупаются ценой лести и предательства.

После того Сезострис осыпал меня благоволением и велел отправить со мной войско в Итаку для освобождения Пенелопы от всех ее преследователей. Корабли были уже готовы, мы в путь собирались. Я удивлялся превратности счастья: кого сегодня гнетет, того завтра возносит. Неожиданная перемена со мной подавала мне надежду, что и Улисс, после долговременных страданий, может быть, наконец возвратится в отечество. Я даже льстил себя мыслью, что могу еще некогда увидеть и Ментора, невзирая на то, что он был отведен в самый неизвестный край Эфиопии.

Между тем как я, ожидая известий о Менторе, отложил свой отъезд на короткое время, царь в глубокой старости скоропостижно скончался. Смерть его ввергнула меня в новые бедствия.

Весь Египет восстал о кончине великого Сезостриса. Каждое семейство теряло в нем отца, заступника, друга. Старцы, воздев руки к небу, говорили: не было еще в Египте царя, столь благолюбивого, никогда и не будет. О Боги! Зачем вы посылали его на землю, а послав, навсегда его нам не оставили? На что нам жизнь без великого Сезостриса? Юноши повторяли: пала вся надежда Египта. Отцы наши благоденствовали под кровом добродетельнейшего из венценосцев, мы только взглянули на него, чтобы узнать, чего лишаемся. Служители его про-

ливали днем и ночью горькие слезы. Сорок дней сряду граждане отдаленнейших стран приходили толпами к его гробу, алкали еще однажды увидеть, облобызать его тело и образ Сезостриса запечатлеть в своей памяти. Многие хотели заключиться с ним в гробе.

Общую горесть увеличивал еще сын его Бокхорис, в котором не было ни человеколюбия к странникам, ни любопытства к наукам, ни уважения к добродетельным людям, ни рвения к славе. Самое величие отца было отчасти виной, что сын был столь мало достоин престола: он воспитан в неге и неистовой гордости. Люди в глазах его были ничтожные твари, весь мир, – думал он, – для него, а сам он выше природы человеческой. Любимый труд его был насыщать свои страсти, расточать несметные богатства, собранные отцом с такими трудами, давить пятой народ, сосать кровь несчастных и исполнять во всем подлые советы безумных юношей-ласкателей: он окружал себя такими клеветами, разогнав с презрением всех мудрых старцев, друзей и наперсников отца своего. Он был не царь, а страшилище. Весь Египет стenal под его игом, и хотя имя Сезостриса, любезное египтянам, заставляло их сносить жестокость и буйство его сына, но он сам стремился к гибели: царь, столь недостойный престола, не мог властвовать долго.

Для меня вся надежда возвратиться в Итаку исчезла. Я содержался в башне на берегу моря возле Пелузы, откуда полагал отправиться, если бы смерть не постигла Сезостриса. Метопфис, получив пронырством свободу и при новом царе прежнюю силу, в отмщение мне за претерпенное наказание, заключил меня в темницу. Там я проводил дни и ночи в глубоком крушении сердца. И предсказания Термозирисовы, и слышанные мной из пещеры слова представлялись мне сновидением. Убило меня горе. Смотрел я, как волны, нахлынув, плескали в подошву темницы, следовал взором за кораблями, когда они носились по бурным волнам, подвергаясь опасности сокрушиться о камни под башней, и не только не сожалел о мореходцах, угрожаемых явной гибелью, но завидовал еще их доле, говоря сам себе: скоро или бедствия жизни их пресекутся, или они возвратятся в отечество. Я не мог ожидать ни того, ни другого.

Иссыхая в бесплодной грусти, однажды вдруг я вижу: словно лес, корабельные мачты. Море зачернелось под парусами, вода буграми клубилась под несчетными веслами, со всех сторон слышан был вопль мятежа. Смотрю я по берегу: толпы египтян с бледными от страха лицами стремглав бегут с оружием в руках, другие толпы, завидев корабли, как будто давно ожидаемые, с радостью спешат к ним навстречу. Я тотчас узнал это чуждое ополчение, корабли кипрские и финикийские: горе познакомило меня с мореплаванием. Египтяне, по-видимому, были в междоусобном раздоре. Я предугадывал, что безрассудный Бокхорис неистовством возбуждал в народе дух мятежа и внутренней брани, и подлинно стал сверху башни зрителем кровопролитнейшей сечи.

Египтяне, призвав к себе в помощь иноземцев и открыв им путь в свою землю, восстали с ними на соотечественников, царем предводимых. Я видел, как юный царь примером одушевлял своих воинов: летал – второй Марс – по полю битвы, кругом его кровь ручьями лилась, колесница его вся была обрызгана черной, густой, пенившейся кровью, колеса едва проходили по грудам раздавленных трупов. Дивный стройностью тела и силой, величавый, гордый, он пылал в очах яростью и отчаянием, подобный бурному молодому коню, когда почует, что удила из рта его выпали, в быстром порыве храбрости он предавал все воле случая и не воздерживал отваги рассудком, не умел ни исправлять погрешностей, ни давать ясных и точных повелений, ни предвидеть опасности, ни беречь людей полезных и нужных, не потому, что природа не одарила его разумом: в нем пылкость ума равнялась с мужеством, но он никогда не был в училище беды. Наставники заразили прекрасный нрав его лестью, он опьянел от славы царского сана и всемогущества, думал, что все должно было покоряться неистовым его желаниям: малейшее пререкание воспламеняло его сердце – и тогда он не рассуждал и не мыслил, приходил в исступление, раздраженная гордость обращала его в свирепого зверя, природная благость и здравый рассудок мгновенно терялись, самые верные слуги тогда его избегали, он терпел около

себя только ласкателей. Таким образом всегда ко вреду своему он переходил из крайности в крайность и заставил всех благомыслящих невольно гнушаться буйным его поведением.

Храбрость его долго удерживала рать неприятельскую, наконец он изнемог, и я видел бедственную его кончину. Финикиянин копьем поразил его в сердце, выпали из рук его вожжи, и он грянулся с колесницы под ноги коней. Кипрянин отсек ему голову и, взяв за волосы, показал ее, как торжественное знамя, победоносному войску.

Всегда я буду помнить эту голову, кровью облитую, очи померкшие и сомкнувшиеся, лицо бледное, увядшее, уста раскрытые и речь начатую как будто еще договаривавшие, гордое грозное чело, неизмененное даже и смертью. Во всю мою жизнь будет у меня перед глазами это печальное зрелище, и если боги некогда вверят мне царство, то после столь горестного примера никогда не забуду, что царь тогда только достоин державы и счастлив могуществом, когда покоряет власть здравому разуму. Горе тому, кто призван устраивать общее благо, а, царствуя, умножает только бедствие народа.

Книга третья

Телемак отправляется из Египта на тирском корабле.

Описание Тира и царя тамошнего Пигмалиона.

Опасности в Тире.

Отъезд из Тира.

Богиня с удивлением слушала столь умную повесть. Особенно она пленялась откровенностью, с которой Телемак признавался в погрешностях от пылкого нрава и непокорности мудрому Ментору, находила чудесное возвышение духа и величие в юноше, который осуждал сам себя, но и воспользовался преткновениями – научился владеть собой, предусматривать, быть бдительным на страже сердца.

– Продолжай, любезный Телемак, свою повесть, – говорила она. – Я жажду знать, каким образом ты вышел из Египта и где нашел мудрого Ментора: сокрушение твое о нем было так справедливо!

Телемак продолжал:

– Малая часть добродетельных египтян, верных, но слабых, после несчастной кончины Бокхориса принуждена была уступить силе: избран другой царь, по имени Термутис. Финикияне и кипрская рать, заключив с ним союз, возвратились. Новый царь отдал им пленных финикиян, в том числе и меня. Я освобожден из темницы, сели мы на корабли, надежда воскресла в моем сердце. Попутный ветер заиграл парусами, гребцы рассекали веслами волны пенившиеся, корабли рассеялись по необозримым зыбям, загремел и клики веселые, берег от нас отдалялся, холмы и горы оседали, наконец, мы уже видели только небо, сливанное с морем. Между тем солнце, одевшись пламенным светом, вышло из влажной пучины и быстрыми лучами позолотило верхи гор, исчезающих за пределами зрения. Небо, темно-голубое, обещало нам благополучное плавание.

Я освобожден как финикиянин, но никому из финикиян не был известен. Нарбал, начальник корабля, на котором я находился, спросил меня об имени и об отечестве.

– Из какого ты города в Финикии? – говорил он.

– Я не из Финикии, – отвечал я, – а египтяне только взяли меня на корабле финикийском. Содержался я в плену у них как финикиянин, долго страдал под этим званием, наконец, получил и свободу.

– Откуда же ты? – продолжал он.

– Я Телемак, сын Улисса, царя итакского в Греции, – отвечал я. – Отец мой прославился между всеми царями под Троей, но не мог – так угодно было богам – возвратиться в отечество. Я искал его в разных странах: судьба гонит меня так же, как и его. Ты видишь во мне несчастного, которого единственное желание – возвратиться на родину и соединиться с родителем.

Нарбал смотрел на меня с изумлением, казалось, примечал во мне нечто счастливое, отличный дар небес выше общей доли смертных. Он был от природы великодушен и искренен, сжалился над моим бедственным жребием и обращался со мной с доверенностью. Боги внушили ему это чувство, чтобы спасти меня от величайшей опасности.

Он говорил мне:

– Телемак! Я не сомневаюсь и не могу усомниться в истине слов твоих. Горесть и добродетель, написанные на лице твоём, изгоняют из моих мыслей все подозрение. Чувствую, что и боги, которым я всегда служил с благоговением, хранят тебя под своим кровом и желают, чтобы и я любил тебя, как сына. Я дам тебе спасительный совет, но соблюди его втайне, требую от тебя этого только возмездия.

– Не опасайся, – прервал я Нарбала, – чтобы я не мог сохранить в молчании вверенной мне тайны. Юный летами, я состарился в давней привычке блюсти свою тайну, а тем еще более не обнаруживать никогда и ни под каким видом тайны другого.

– Как ты научился такой добродетели в столь юных летах? – спросил меня Нарбал. – Приятно мне будет слышать, каким образом ты снискал это качество, первое основание благоразумного поведения, полезнейшее достоинство всех дарований.

Я отвечал ему:

– Улисс, отправляясь в поход против Трои, взял меня на руки, посадил на колена – так разлука его со мной была мне описываема, – обнял меня со всей нежностью и говорил мне, хотя я не мог еще тогда разуть его: «Сын мой! Пусть лучше я никогда уже не увижу тебя, пусть Парка перережет нить твоей жизни, еще не развившуюся, как жнец подсекает серпом нежный крин³, едва только расцветший, пусть враги мои растерзают тебя пред глазами твоей матери и предо мной, если ты некогда развратишься и оставишь путь добродетели. Друзья мои! – продолжал он. – Вверяю вам сына, всего на свете мне любезнейшего: стерегите его юность. Если любите меня, то удаляйте его от пагубной лести, научайте его побеждать себя, пусть он будет в руках ваших гибкой отраслью, выправляемой, и от того прямо растущей. Старайтесь более всего сделать его правдолюбивым, благотворительным, чистосердечным и верным в хранении тайны. Кто лжет, тот недостоин быть человеком, а кто не умеет молчать, тот недостоин быть на престоле».

Слова его, часто мне повторяемые, врезались в мое сердце. Часто я сам себе их повторяю.

Друзья отца моего благовременно старались приучить меня к тайне. На заре еще лет моих они изъявляли мне все свои скорби, видя мать мою в плену у дерзких искателей брачного с ней союза. Таким образом, они с того еще времени поступали со мной, как с человеком здравомыслящим и благонадежным, открывали мне наедине самые важные предметы, сообщали мне все свои меры против злоумышленников. Я восхищался таким ко мне вниманием и считал себя уже не отроком. Никогда я не обратил во зло доверия, никогда не вышло из уст моих слово, которое могло бы обнаружить малейшую тайну. Враги нередко старались беседой вовлечь меня в сети, полагая, что молодой человек не воздержит языка, услышав или увидев что-либо важное. Я умел не лгать, но и не открывать им в ответах того, что надлежало хранить под печатью скромности.

После того Нарбал говорил мне:

– Телемак! Ты видишь могущество финикиян. Морским ополчением, сильным и многочисленным, мы страшны соседям. Торговля наша, распространяющаяся даже до столбов Геркулесовых, обогащает нас более всех самых цветущих в мире народов. Великий Сезострис никогда не успел бы одолеть нас на море, едва мог победить и на суше с войском, весь Восток покорившим. Он обложил нас и данью, но ненадолго. Финикияне при несметных богатствах и силах не могли смиренно сносить рабства, восстали и стрясли с себя иго. Смерть воспрепятствовала Сезострису кончить с нами войну. Надобно признаться, что мы были в большом страхе не столько еще от его могущества, сколько от мудрости. Но когда на громоносном престоле Сезострисовом сел безрассудный Бокхорис, мы тогда же увидели, что прошла вся гроза, над нами висевшая. И подлинно, египтяне вместо того, чтобы возвратиться в нашу область и с мечом в руке вновь предписать нам законы, сами принуждены были молить нас о помощи, о избавлении их от царя неистового и кровожадного. Мы их избавители! Новая слава к богатству и независимости финикиян.

Но, освобождая других, мы сами рабы. Телемак! Опасайся впасть в руки царя нашего Пигмалиона. Он обагрил свои жестокие руки в крови Сихея, мужа Дидоны, сестры своей. Дидона, сгорая мщением, спаслась бегством из Тира. Все, в ком еще не умерла любовь к сво-

³ Лилия. – Прим. изд.

боде и добродетели, вместе с ней покинули родную землю. Она основала на берегу Африки великолепнейший город, названный Карфагеном.

Пигмалион, томимый ненасытной алчностью к богатству, становится со дня на день презреннее и ненавистнее подданным. Быть богатым – преступление в Тире. От скупости он недоверчив, подозрителен и кровожаден, гонит богатых, бедных боится.

Быть добродетельным в Тире еще большее преступление. Пигмалион предугадывает, что благомыслящие не могут сносить его неправд и злодеяний. Добродетель осуждает его, он ожесточается. Все терзает его, мучит и гложет. Он трепещет своей тени, не спит ни днем, ни ночью, и боги, чтобы исполнить меру его страданий, осыпают его сокровищами, к которым он не смеет прикоснуться. То, чем он ищет себе счастья, то самое отравляет все часы его жизни. Он тоскует о всем, что выходит из рук его, непрестанно боится ущерба в имуществе, рвется умножить корысти корыстями.

Никто почти не видит его. Он всегда один, всегда уныл и печален – затворник в чертогах. Друзья даже не смеют являться к нему от страха навлечь на себя подозрение. Ужасная стража неотступно окружает его дом с обнаженными мечами и поднятыми копьями. Тридцать покоев, соединенных переходами, составляют его темницу, в каждом из них железная дверь с шестью огромными замками. Никому никогда неизвестно, в котором из них он заключается на ночь, молва говорит, что он никогда не проводит в одном месте двух ночей сряду от страха насильственной смерти. Он не знает никаких увеселений, ни дружбы, всего усладительнейшей. Предложит ли кто ему искать развлечения и удовольствий, он чувствует, что радость и удовольствие бегут от его сердца. Впалые очи его сверкают пламенем алчной, свирепой злобы и непрестанно оглядываются. Он внемлет с трепетом самому тихому шуму, бледен, исчах, и на лице его, обезображенном морщинами, написаны мрачные скорби, – всегда молчит, воздыхает, стоны отчаяния вырываются из его сердца, он не может скрыть угрызений, раздирающих его душу. Самые вкусные яства противны ему. Дети – вместо надежды и утешения – страх его. Он сделал их врагами себе и врагами опаснейшими, он не имеет покоя ни на одно мгновение ока, искупает бытие свое кровью всех, на кого бы ни пало его подозрение. Безумный! Не видит, что жестокость, единственный щит его, обратится ему в пагубу. Кто-нибудь из его же клеветников, равный ему в недоверчивости, не укоснит избавить мир от такого изверга.

Я боюсь богов и во что бы то ни стало пребуду верен царю, ими поставленному, скорее сам от него погибну, а не посягну на жизнь его, и даже меч, другим на него обращенный, прежде пройдет чрез мое сердце. Но ты, Телемак! Опасайся открыть Пигмалиону, что ты сын Улиссов. Он возомнит, что отец твой по возвращении в Итаку выкупит тебя из плена ценой золота, и удержит тебя в узах.

Когда мы прибыли в Тир, я последовал совету Нарбалову и увидел всю картину, в столь справедливых чертах мне им описанную. Не понимал я, как человек может довести сам себя до столь позорного унижения.

Пораженный ужасным, новым для меня зрелищем, сам себе я говорил: вот человек, жаждущий в труде и болезни восхитить счастье! Он надеялся достигнуть своей цели богатством и беспредельной властью, имеет все, чего не захочет, но посреди богатства, со всей своей властью бедствует. Если бы он так же, как некогда я, был пастухом, так был бы и счастлив, наслаждался невинными сельскими удовольствиями без страха и без угрызения совести, не боялся бы ни меча, ни яда, любил бы людей, взаимно любимый, не обладал бы несметными, бесполезными для него, как песок на краю моря, сокровищами – он не смеет к ним прикасаться – но, свободно питаюсь земными плодами ни в чем не терпел бы истинной нужды. Он, думает, что делает все по желанию – обманчивый призрак! Он исполняет только волю страстей своих, терзаясь ежеминутно любостязанием, страхом, подозрениями. Думает, что царствует, а в действительности раб собственного сердца: в нем столько тиранов и повелителей, сколько неистовых желаний.

Так я размышлял о Пигмалионе, не видевого ни однажды. Он никогда не показывался, и народ с ужасом только смотрел на высокие, денно и нощно обставленные стражей стены, где он, как в недоступной темнице, заключался с сокровищами от людей и от совести. Я сравнивал этого невидимого царя с Сезострисом, вспоминая, как тот был кроток, добр, снисходителен, как принимал иноземцев, как, слушая каждого, исторгал из сердец истину, скрываемую от государей. Сезострис, говорил я, ничего не боялся, нечего было ему и бояться: подданные были дети его. Пигмалион в непрестанном страхе, и должен страшиться всего. Насильственная смерть ежеминутно грозит ему и в непроницаемых чертогах, и посреди всех его телохранителей. Добрый Сезострис, напротив того, посреди бесчисленного народа был в безопасности, как отец в доме в кругу любезного семейства.

Пигмалион велел отпустить кипрскую рать, пришедшую к нему в помощь против египтян по дружественному тогда союзу между его народом и кипрянами. Нарбал хотел отправить меня при этом случае, и для того поставил меня в строй с кипрскими войсками – недоверчивость Пигмалионова простиралась до маловажнейших предметов.

Порок слабых и празднолюбивых государей – слепая преданность развратным и коварным любимцам. Совсем иной порок был в Пигмалионе – недоверчивость даже к испытанным в честности людям. Он не знал различия между злодеем и простосердечным, правдивым человеком, чуждым лукавства. Никогда потому не было при нем людей добродетельных. От такого царя они бегают. Сверх того Пигмалион со времени царствования находил в исполнителях своей воли столько притворства, измен, черной злобы под благовидным покровом бескорыстия, что всех без изъятия считал лицемерами, думал, что нет в мире искренней добродетели и что люди все одинаковы. Встретив одного лживого и вероломного, он не искал на то место другого, полагая, что другой не будет благонамереннее. Добрые в глазах его были еще хуже явных злодеев. Он почитал их столько же злыми, но гораздо коварнейшими.

Таким образом, я ускользнул в числе рати кипрской от недоверчивости Пигмалионовой, все соглядавшей. Нарбал трепетал от одной мысли, что тайна наша могла обнаружиться: оба мы заплатили бы за это жизнью, с нетерпением он ожидал дня разлуки со мной, как дня вождя-леннейшего, но я довольно долго еще пробыл в Тире из-за противного ветра.

Это время я посвятил познанию нравов народа финикийского, прославляемых везде и всеми. С удивлением я рассматривал счастливое местоположение обширного Тира на острове посреди моря. Лежащий насупротив берег, под приятнейшей полосой неба, обворожителен по изобилию, разнообразию редких своих произведений и по множеству сел, городов, следующих один за другим почти непрерывно. Горы служат ему оградой от палящего ветра полуденного, а с моря воздух благорастворяется прохладой стран полуночных. Берег идет скатом от подошвы Ливана, сквозь тучи до звезд достигающего. Чело его одето вечными льдами. Громады снега, обрушась, сыплются в виде потоков сверху висящих утесов, которыми темя его обложено. Ниже чернеется необозримый лес древних кедров, земле современных и возносящих под облака могучие ветви. От леса по скату горы тучные пажити. Там блуждают стада волов и овец с резвыми агнцами, там струятся бесчисленными ручьями прозрачные воды. За лугами ближе к морю самая подошва горы – очаровательная равнина, совокупное царство весны и осени, плод со цветом соединяющих. Ни убийственный ветер полуденный, все пополюющий, ни грозный Аквилон никогда не дерзали помрачить блестящих красот того прелестного сада.

Против этого волшебного берега выходит из моря остров, на котором Тир процветает. Великий город, кажется, плавает в водах, как повелитель морей. Купцы стекаются на стогны⁴ его из всех частей света, жители его сами купцы, по всей земле знаменитейшие. С первого взгляда можно подумать, что он принадлежит не одному народу, а всем совокупно, как все-

⁴ Площади, широкие улицы (церк. – слав., поэт. устар.). – Прим. изд.

мирное торжище. Два вала, как две руки, идут от берега в море и образуют обширную пристань, где ветер безвластен. Лес стоит мачт корабельных. Море заслонено кораблями.

Все граждане заняты торговлей, и труд, верный источник вящего богатства, не ослабевает в них от избытка. Везде у них видны во множестве тонкий лен египетский и тирская двойная червьень, дивная цветом, столь прочная и блистательная, что противостоит едкости времени: она идет на драгоценные ткани, вышиваемые серебром и золотом.

Финикияне простерли торг со всеми в мире народами до Гадесского пролива, проникли даже в бездны неизмеримого Океана, обтекающего весь шар земной, предпринимали также долговременные странствования по Черному морю и оттуда на острова, никому не известные, за золотом, благовониями и редкими животными.

Никогда не мог я расстаться с величественным зрелищем, которое этот город представлял моим взорам. Все там трудятся. Я нигде не встречал праздных любителей новостей, которыми города наполнены в Греции, где толпы стекаются на стогны слушать вести или глядеть на приходящие к пристани иностранные лица. В Тире мужчины всегда за делом, выгружают из кораблей, переносят, продают, разбирают товары, ведут счета с иноземцами. Женщины заняты пряжей, составляют узоры для шитья, укладывают драгоценные ткани.

– Каким образом финикияне, – спрашивал я Нарбала, – сделались повелителями всемирной торговли и от всех прочих народов собирают столь богатые дани?

– Изъяснить это весьма нетрудно, – отвечал он. – Самое положение Тира благоприятствует торговле. Слава изобретения мореплавания принадлежит нашему отечеству. Если верить преданиям отдаленнейшей древности, то тиряне первые смирили морские волны до времен еще Тифиса и аргонавтов, превознесенных Грецией, первые дерзнули бороться на ломкой доске с водами и вихрями, испытали пучины, познали по руководству египтян и вавилонян звезды на тверди небесной и наконец открыли путь сообщения между народами, пространством морей разлученными. Они ревностны в промышленности, терпеливы в исполнении предприятий, трудолюбивы, гостеприимны, трезвы, умеренны, порядок у них во всем совершенный, они живут во взаимном согласии, и никакой народ не может сравниться с ними в твердости, в верности, в чистосердечии, в благонадежности в снисхождении ко всем чужеземцам.

Вот отчего тиряне повелители моря! Вот отчего на берегах их цветет торговля, сопровождаемая столь великими выгодами. Не нужно искать иных причин. Поселись у них раздор и зависть, начини они покоиться в прохладах неги и праздности, презирать в первых знатнейших домах труд и расчетливость, перестань они уважать у себя полезные художества, отступи они от правил доброй веры и честности, измени хотя в малом уставы свободной торговли, пренебреги рукодельями, останови они ссуды, пожертвования для усовершенствования различных отраслей промышленности, недолго продлится их могущество, ныне предмет твоего удивления.

– Изъясни мне, Нарбал, – продолжал я, – какими средствами некогда можно бы было в Итаке основать такую же торговлю?

– Последуй здешнему примеру, – продолжал он. – Принимай благосклонно и снисходительно всех иностранцев, пусть они находят в вашей пристани покой, совершенную свободу и безопасность, не ослепляйся ни любостыжанием, ни гордостью. Лучший способ обогатиться – не искать чрезмерного обогащения и уметь вовремя жертвовать приобретением. Снискивай любовь чуждых народов, сноси от них даже и неудобства, опасайся возбудить зависть высокомерию, будь тверд в исполнении правил торговли, они должны быть просты, изъятые от всех затруднений, приучай и народ свой исполнять их ненарушимо, наказывай строго обманы, небрежность и роскошь, которая, разоряя купцов, подрывает тем самым торговлю.

Особенно никогда не стесняй торговли по корыстным собственным видам. Чтобы она свободно текла, государь, не приемля в ней сам никакого участия, должен предоставлять весь прибыток в пользу труждающихся: иначе он убьет дух общего рвения. Получит он и без того знатные выгоды от великих богатств, когда они будут беспрепятственно приходить в его

область. Торговля как ручьи: отведешь их – иссякнут. Польза и спокойствие одни могут привлечь к вам иноземцев. Не найдут они в торговле с вами удобства и выгод – незаметно уйдут и никогда уже не возвратятся к вашему берегу. Другие народы воспользуются вашей неосмотрительностью, призовут их к себе и покажут им, как они могут без вас обходиться. Надобно признаться, что с некоторого времени слава Тира померкла. Ах! Если бы ты, любезный Телемак, увидел нашу славу до царствования Пигмалионова! Удивление твое возросло бы тогда до высочайшей степени. Ты теперь видишь только печальный остаток величия, близкого к падению. Несчастный город! В какие руки ты предан? Некогда народы приносили тебе дани от всех концов известного мира.

Пигмалион боится и иностранцев, и подданных. Вместо того, чтобы, по древнему нашему обычаю, открыть все пристани и дать полную свободу всем, самым отдаленным народам, он хочет знать и число приходящих кораблей, и страну, откуда они, и каждого имя, торг, время пребывания в Тире, цены товаров. Мало того, он старается торгующих ловить в тайные сети: искусство, с которым он под видом наказания за преступления переводит чужое достояние в свои сокровищницы, гнетет богатых, налагает под разными предлогами новые подати, хочет сам иметь долю в торговле, а его каждый боится и бежит. Торговля наша от того упадет. Иноземцы начинают забывать путь к берегу тирскому, прежде столь им знакомый, столь им приятный, и если Пигмалион не переменит своих правил, то скоро вся наша слава и сила перейдут к другому народу, лучше нас управляемому.

Потом я любопытствовал знать, какими средствами тиряне приобрели на водах столь великое могущество, желал вникнуть во все подробности правления.

– Ливан доставляет нам лес на корабли, – отвечал мне Нарбал, – мы бережем леса, как драгоценность, единственно на общественные нужды. Для строения кораблей есть у нас искусные художники.

– Откуда вы взяли художников? – спросил я Нарбала.

– Они дома у нас постепенно образовались, – отвечал он. – Когда отличные способности к искусствам не остаются без воздаяния, то несомненно и скоро явятся люди, которые доведут их до совершенства. Люди с превосходным умом и дарованиями охотно посвящают себя искусствам, сопровождаемым великими наградами. У нас в почтении каждый, отличный успехами в науках или в искусствах, нужных для мореплавания. И знающий геометр уважаем, и способному астроному отдается вся справедливость, и кормчий, превосходящий других в своем деле, щедро вознаграждается, и прилежный плотник не только не презрен, но получает за труд свой достаточное возмездие. Даже гребцам, каждому по мере заслуги, назначены верные награды, они содержатся нескучно, в болезнях есть о них попечение, в отсутствие их жёны и дети их призрены, в случае гибели на море жребий семейств их обеспечен, выслужив срок, они возвращаются на родину. От того всегда их у нас множество. Отец с радостью готовит сына к ремеслу, где ждут его верные выгоды, и начинает учить его еще с младенчества владеть веслом, ставить снасти, презирать грозные бури. Так можно управлять людьми без насильственного принуждения добрым устройством и воздаяниями. Одна власть сама по себе не зиждет общего блага, не довольно для того и одного беспрекословного повиновения: надобно сердца пленить и дать людям восчувствовать собственную пользу в том, в чем нужны их труд и искусство.

Потом я осматривал с Нарбалом огромные запасы леса, снастей, оружия, все производство кораблестроения: входил во все мелочи и все записывал, чтобы не забыть чего-либо полезного.

Между тем Нарбал, зная Пигмалиона и по любви ко мне, считал дни и часы, опасаясь, чтобы я не был открыт соглядатаями, обходившими город днем и ночью. Противный ветер не позволял мне отправиться.

Однажды обзоредали мы гавань в обществе с купцами. Вдруг видим царедворца Пигмалионова: приходит к Нарбалу и говорит:

– Царь узнал от одного из корабельных начальников, возвратившихся вместе с тобой из Египта, что ты привез иностранца, слывающего кипрянином. Царь велит взять его под стражу и исследовать, кто он? Ты отвечаешь за него головой.

Устранясь, я тогда осматривал дивную правильность построенного вновь корабля: легкостью на ходу, говорили, по точной во всех частях соразмерности никогда еще не было в Тире подобного. Я расспрашивал художника, управлявшего столь отличной работой.

Нарбал в изумлении, в страхе отвечал царедворцу:

– Я немедленно узнаю, что это за иностранец, который выдает себя за кипрянина.

Но лишь только посланный скрылся от глаз его, он не пришел, прилетел известить меня о предстоявшей опасности.

– Погибли мы, любезный Телемак! – говорил он. – Сердце мое давно слышало несчастье. Царь, непрестанно терзаемый сомнениями, подозревает, что ты не кипрянин, велит взять тебя под стражу, я буду жертвой, если не предам тебя в его руки. Что нам делать? О! Боги! Просветите нас мудростью. Телемак! Я должен отвести тебя в царский дворец. Скажи, что ты кипрянин из города Аматонта, сын художника-ваятеля. Я засвидетельствую, что отец твой давно мне известен. Может быть, царь отпустит тебя без дальнего исследования. Не вижу другого средства к спасению.

Я отвечал Нарбалу:

– Не препятствуй погибнуть несчастному, которого сама судьба обрекла на гибель. Любезный Нарбал! Я умею умереть, и мне ли после всех твоих благодеяний вовлекать тебя в свое бедствие? Не могу я решиться солгать. Я не кипрянин и не назову себя кипрянином. Боги видят мое чистосердечие, спасут меня по своему всемогуществу, если то им благоугодно, а я не хочу спасать себя ложью.

– Такая ложь, – говорил мне Нарбал, – не преступление, и боги оправдают ее, она не вредит никому, спасает две невинные жертвы и мнимым обманом удержит Пигмалиона от величайшего злодейства. Телемак! Ты слишком далеко простираешь любовь к добродетели и страх нарушить святость закона.

– Ложь есть ложь, – отвечал я, – и потому уже не достойна человека, говорящего перед лицом вездесущих богов и обязанного всем жертвовать истине. Преступающий истину гневит богов, язвит и сам себя, говоря против совести. Если боги умилятся: воззрят – и мы избавлены. Если же они соизволяют на нашу гибель, то мы умрем жертвами правды и оставим другим пример по себе, как бескорыстную, чистую добродетель предпочитать долгой жизни. Моя жизнь, доселе всегда злополучная, слишком уже долговременна. О тебе только, любезный Нарбал, сердце мое сокрушается. Кто мог бы подумать, что дружба к несчастному страннику обратится тебе в пагубу!

Взаимный спор любви между нами долго продолжался. Наконец мы увидели другого, быстро шедшего к нам царедворца. Он был послан от Астарбеи.

Эта женщина была богиня красотой, соединяла волшебство ума с наружными прелестями, была забавна, любезна, обворожительна. При всех коварных приятностях сердце ее, как у сирен, было злобно, жестоко, но она умела прикрывать эту черную тайну непроницаемой завесой. Красотой и разумом, искусством играть на лире и нежностью голоса она поработила сердце Пигмалионово. Ослепленный безумной страстью, он бросил свою жену, царицу Тофу. Первая и последняя мысль его была – исполнять волю надменной Астарбеи. Любовь к ней была ему столько же губительна, как и бесчестное сребролюбие. За всю его страсть к ней она платила ему презрением, хитро лицедействовала, и в то самое время, когда ее уста повторяли ему клятвы любви бесконечной, она в сердце сналаась ненавистью.

В Тире жил тогда лидянин именем Малахон, цветущий летами и красотой, но сластолюбивый, расслабленный удовольствиями, женщина душой. Сохранить нежный цвет в лице, рассыпать искусно по плечам светло-русые кудри, окропиться благовонными водами, одеться

с новой приятностью и потом петь свою страсть со звуками лиры – было его единственное занятие. Астарбея увидела прекрасного юношу и вспыхнула к нему любовью, любовь скоро перешла в неистовство. Он презрел ее и по страсти к другой, и особенно от страха лютой ревности всеильного соперника. Презренная Астарбея, закипев мстостью, в отчаянии умыслила выдать Малахона за чужеземца, искомого царем и, по слухам, прибывшего с Нарбалом.

И подлинно она уверила в том Пигмалиона, склонив на свою сторону всех, кто мог вывести его из заблуждения. Не любив и не умев отличать добродетельных, он окружался людьми корыстными, хитрыми, готовыми по одному его мановению на все неправды и злодеяния. Они все трепетали Астарбеи, послушные клеветы ее во всех обманах боялись гнева надменной женщины, всеильной царской доверенностью. Малахон, известный всему городу лядянин, признан за иностранца, привезенного Нарбалом в Тир из Египта, и заключен в темницу.

Астарбея, боясь, чтобы Нарбал не открыл ее умысла, спешила послать к нему царедворца.

– Астарбея, – говорил он Нарбалу, – запрещает тебе доносить царю, кто твой иностранец, требует от тебя только молчания и устроит все таким образом, что царь сохранит к тебе благоволение. Ты между тем отправь немедленно с кипрянами юного своего странника, чтобы его не было в городе.

Восхищенный неожиданным путем к спасению, Нарбал согласился на требование. Посланный, получив желаемое, возвратился с ответом к Астарбее.

Нарбал и я – мы благословляли промысл богов, призревших на нашу искренность и столь благосердно хранящих под своим кровом дерзновение, бестрепетно готовое на всякую жертву за добродетель.

С ужасом мы размышляли о государе, терзаемом любострастием и златолюбием. Тот, говорили, кто столь малодушно боится обмана, достоин быть в обольщении и всегда почти нагло обманут. Не веря добрым и предавшись злодеям, он один только не знает того, что совершается у него под глазами. Посмотрим на Пигмалиона – он играл лице бесстыдной женщины! Но боги обращают ложь злых в спасение благолюбивых, желающих лучше погибнуть, нежели лгать.

В тот самый час мы заметили, что ветер переменился, подул благоприятный кипрскому войску.

– Боги поборствуют, – воскликнул Нарбал, – боги соизволяют возвратить тебе, любезный Телемак, мир и свободу! Беги, оставь землю, упившуюся кровью и обремененную проклятиями. Счастлив тот, кто может сопутствовать тебе до отдаленнейшего края вселенной! Счастлив, кому предоставлено жить и умереть вместе с тобой! Меня грозный рок пригвозждает к злополучному отечеству. Я должен страдать с ним, а может статься, и прах мой смешается с прахом его развалин. Но что до того? Лишь бы я всегда говорил правду и сердце мое любило бы истину. Боги, ведущие тебя мышцей высокой, да благословят тебя, любезный Телемак, драгоценнейшим своим даром – чистой и бескорыстной добродетелью даже до смерти. Будь счастлив, возвратись в Итаку, утешь и избавь Пенелопу от дерзких злоумышленников. Да увидят некогда глаза твои и руки да обнимут Улисса! Да узрит и он в тебе другого Улисса! Но в счастии вспомни несчастного Нарбала и не переставай любить страждущего друга.

Я отвечал ему слезами и глубокими вздохами. Мы пали молча друг к другу в объятия. Он провожал меня до корабля, остался на берегу, и, когда корабль вышел в море, мы долго еще не отводили друг от друга взоров.

Книга четвертая

Буря на море.

Прибытие на Кипр. Новые там опасности.

Неожиданное свидание с Ментором.

Знакомство с Газилом.

Отъезд из Кипра.

Калипсо, очарованная, слушая Телемака в восторге удовольствия, тут остановила его.

– Время тебе, – она сказала ему, – вкусить сладкий сон после столь многих страданий. Здесь нечего бояться, все тебе благоприятствует, забудь все печали, предайся веселью, наслались миром и всеми дарами, которые боги изливают на тебя щедрой рукой. Завтра, как только Аврора отворит алым перстом золотую дверь востока, и Фебовы кони, прянув из вод морских, прогонят звезды с тверди небесной и землю озарят дневным светом, ты кончишь, любезный Телемак, свою повесть. Никогда отец твой не мог сравниться с тобой в мудрости и мужестве. Ни Ахилл, победитель Гектора, ни Тезей, возвратившийся из ада, ни сам великий Алкид, очистивший землю от множества чудовищ, не показали такой силы духа и доблести. Глубокий сон пусть сократит для тебя часы ночи, а для меня предстоит ночь нескончаемая. О! Как медленно будут проходить для меня минуты одна за другой, пока я не увижу тебя, не услышу твоего голоса, не умолю тебя повторить мне сначала свою повесть и досказать все то, что мне еще неизвестно! Прощай, любезный мой Телемак! Там, в отдаленной пещере, все готово для успокоения тебя и мудрого Ментора, возвращенного тебе божественным промыслом. Молю Морфея, чтобы он рассыпал сладостнейшие цветы на твои вежды, укрепил утомленные твои члены небесным дуновением и велел легким мечтам носиться около тебя, пленять твои чувства прелестьными видами и отгонять от тебя все то, что могло бы смутить сон твой безвременно.

И сама повела Телемака в особую пещеру, устроенную в таком же приятном сельском вкусе, как и собственное ее жилище. Светлый в углу источник наводил сон тихим и томным журчанием. Нимфы, сделав из травы две постели, покрыли их длинными кожами: для Телемака положили львиную, а для Ментора медвежью.

Прежде, чем сон сомкнул их глаза, Ментор говорил Телемаку:

– Удовольствие рассказывать свои странствования ослепило тебя. Ты обворожил богиню описанием бедствий, от которых спасся умом и силой духа: тем только более ты воспламенил ее сердце, а сам себе приготовил плен, еще опаснейший. Отпустит ли она тебя из своей области, очарованная твоей повестью? Блеск мнимой славы заставил тебя преступить пределы благоразумия. Калипсо обещала тебе рассказать многие происшествия; участь, Улисса постигшую, – и искусством говорить много, не сказав ничего, принудила тебя открыть ей все, что хотела. Таково коварство хитрых женщин, уязвленных любовью. О Телемак! Когда ты достигнешь мудрости, которая, не внемля тщеславию, преходит в молчании все то бесполезное, что льстит самолюбию? Другие дивятся твоему разуму в таком возрасте, когда преткновения еще простительны. Я не могу ни в чем извинить тебя, один знаю и один столько люблю тебя, что открываю тебе все твои погрешности. Как ты далек еще от мудрости отца своего!

– Но мог ли я, – возразил Телемак, – отвергнуть просьбу Калипсо рассказать ей о несчастных моих похождениях?

– Нет! – отвечал Ментор. – Эта повесть была необходима, но надобно было говорить только то, что могло внушить сострадание. Ты мог ей сказать, что долго скитался, был в плену в Сицилии, после в Египте – и тем ограничиться: все прочее только умножило яд, которым и без того уже сгорает ее сердце. Боги да предохранят твое сердце от той же заразы!

– Что же мне делать? – спросил Телемак смиренно и кротко.

– Скрывать дальнейшие свои странствования уже не время, – отвечал ему Ментор. – По всему, что богине доселе известно, она легко предугадает последствие, раздражишь ее только молчанием. Завтра окончи свою повесть, изъясни все то, чем боги далее ознаменовали благой о тебе промысл, но учись говорить с большей скромностью о том, что может питать самолюбие.

Телемак с покорностью принял добрый совет, и они предались сладкому сну.

Лишь только Феб озарил лицо земли утренним светом, Ментор, услышав голос богини – она созывала нимф к себе в рощу, – разбудил Телемака.

– Пора, – сказал он ему, – преодолеть сон. Возвратимся к Калипсо. Но не верь сладкоречивым ее устам, не открывай ей сердца, страшись усыпляющего яда похвал ее. Вчера она превозносила тебя выше мудрого твоего родителя, выше непобедимого Ахилла, славного Тезея и, наконец, выше Алкида, сопричисленного лику бессмертных. Почувствовал ли ты несообразность такой лести? Поверил ли хитрым словам? Знай, что Калипсо сама считает их пустым звуком и превозносит тебя в твердой надежде на твою слабость, на жажду похвал, делам твоим не соответствующих.

Потом они пошли в то место, где богиня их ожидала. Она встретила их радостной улыбкой, но удовольствием на лице прикрыла только страх и тревогу в душе, предчувствуя, что сын Улиссов, так же как и отец его, с ней ненадолго.

– Удовлетвори, любезный Телемак, моему любопытству, – говорила она. – Мне всю ночь представлялось, как ты отплыл из Финикии, как прибыл к берегу Кипра и как твоя участь там переменилась. Расскажи нам это путешествие, не станем терять времени.

И сели они под тенистым кровом дерев на траве, изукрашенной цветами.

Калипсо не сводила глаз с Телемака. Нежный и страстный взор ее непрестанно невольно к нему обращался. Но в то же время она с негодованием видела, что Ментор преследовал каждый ее взгляд, каждое движение. Между тем нимфы, чтобы лучше видеть и слышать, сели в полкруга, лишенные, казалось, всех чувств, кроме слуха. Глаза всех устремились на Телемака. Он, потупив взор, с прелестной в лице краской стыдливости, продолжал свою повесть:

– Лишь только благоприятный ветер заиграл парусами, немедленно мы потеряли из виду берег финикийский.

В обществе с кипрянами, не зная их нравов, я решился молчать, смотреть на все с примечанием и вести себя с осторожной скромностью, чтобы тем снискать к себе уважение. Но скоро непреодолимый сон сомкнул мои вежды, чувства мои онемели, в тишине сладостной, в упоении радости сердце истаивало.

Вдруг я увидел во сне Венеру. Мечталось мне, что она неслась по облакам в летучей своей колеснице, везомой двумя голубями: блистала той бессмертной красотой, тем цветом юности неуываемой, теми нежными прелестями, которыми некогда, выходя из пены океана, ослепила даже Юпитера. С быстротой молнии она спустилась на землю, положила на плечо мне руку с небесной улыбкой, назвала меня по имени и говорила:

– Юный грек, ты идешь в мою область. Скоро ступишь на берег того благословенного острова, где от прикосновения ног моих рождаются на каждом шагу смех, забавы, веселые игры. Там ты воскуришь фимиам на моих жертвенниках, и я рекой пролью для тебя удовольствия. Открой сердце животворной надежде и страшись воспротивиться всеильной богине, которой воля – твое счастье.

В тот же час я увидел Купидона: он летал на резвых крыльях около матери. Приятство, нега, незлобивая игра младенчества на лице его были написаны, но быстрые очи его приводили меня в ужас. Он обращал ко мне взор и смеялся: смех его был язвительная злость и лукавство. Потом он вынул из золотого колчана стрелу самую острую, и лук натянул, и приложил стрелу к тетиве – пустил в меня роковое оружие. Является Минерва и ограждает меня эгидом. В лице Минервы не было той томной красоты, ни того страстного изнеможения, какие были видны в лице и во всей осанке Венеры. Она была прекрасна забвением своей красоты, простотой и

кротостью. В ней все было скромно, благородно и мужественно, во всем величие, доблесть. Стрела, отраженная эгидом, пала наземь.

Посрамленный Купидон застонал в горестном негодовании.

– Прочь отсюда, дерзкий младенец, – сказала ему Минерва, – тебе предоставлено побеждать только слабые души, предпочитающие постыдные твои утехи мудрости, добродетели, славе.

Оскорбленная любовь улетела. Венера вознеслась на Олимп, и я долго смотрел на ее колесницу, как она, везомая голубями, восходила по воздуху в злато-лазорево облаке. Наконец она скрылась от взоров. Обратясь, я не видел и Минервы.

Мечталось мне тогда, что я перенесен был в прелестнейший сад, каким изображаются Поля Елисейские: там встретил Ментора.

– Беги, – говорил он мне, указывая на Кипр, – беги от этой отверженной земли, тлетворного острова, где все дышит сладострастием. Самая бодрственная добродетель там должна трепетать, быть непрестанно на страже: одно ей спасение – бегство.

Увидев Ментора, я хотел броситься к нему в объятия, но чувствовал, что ноги мои не двигались, колена подсекались и руки, простираясь к верному другу, ловили тень, как мгла, рассыпавшуюся. Воспрянув, утомленный напряжением сил, я предугадывал, что это таинственное сновидение было для меня божественным мановением свыше – и исполнился новой силы против суетных удовольствий, нового мужества к брани с собой, новой ненависти к растлению киприан. Но мысль, что Ментор, совершив течение жизни, перешел через Стикс и переселился в блаженные обители праведных, сокрушала мое сердце.

Ручьем полились из глаз моих слезы. Любопытствовали знать причину моей горести.

– Слезы, – отвечал я, – свойственны несчастному страннику, скитающемуся без всякой надежды возвратиться в отечество.

Между тем киприане на корабле все предавались буйным потехам. Гребцы, враги труда, дремали на веслах, кормчий, в венке из цветов на голове, вместо руля держал в руках огромную чашу с малым уже в ней остатком вина. Он и все до единого, вне себя от вина, пели в честь Венеры и Купидона такие песни, что содрогнулось бы от них всякое сердце, любящее добродетель.

Так они забывали опасности неверной стихии, когда внезапная буря возмутила небо и море. Заревели в парусах яростные вихри, черные воды били валами в корабль, стонавший от их ударов. То волны, вздувшись, вертели нас по хребтам своим, то море под нами вдруг расступалось, бездны зияли. На шаг от себя мы видели груды утесов, где волны кипевшие разбивались с ужасным гулом и громом. Тогда узнал я на опыте истину слов, которые часто слышал от Ментора, что сладострастные люди, упоенные удовольствиями, робки и малодушны в опасности. Унылые киприане рыдали, как боязливые женщины, оглушали меня плачевными воплями и горестными воздыханиями о наслаждениях жизни, поздними обетами принести богам жертвы за избавление от предстоявшего бедствия. Никто не сохранил присутствия духа, чтобы управлять кораблем или, по крайней мере, исполнить необходимые распоряжения. Я вменил себе в обязанность, спасая себя, спасти и других; взял в руки руль; кормчий, омраченный парами вина, как вакханка, не мог даже видеть столь близкой опасности; велел я убрать паруса, ободрил уstraшенных гребцов, они ожили, и мы благополучно прошли между камнями.

Это происшествие показалось сновидением всем моим спутникам, обязанным мне спасением жизни. Я был предметом общего их удивления. Наконец мы достигли кипрского берега. Весна тогда воскрешала природу – время, посвящаемое на Кипре Венере. Весна, говорят они, прилична богине любви. Любовь животворит всю природу и, как весна цветы по земле, рассыпает везде удовольствия.

Ступив на остров, я почувствовал приятнейший воздух, но вместе какую-то лень и негу в теле, какую-то ветренность в мыслях, влечение к увеселениям. Труд на Кипре считался казною:

поля, от природы прекрасные и плодоносные, лежали впусе. Везде встречались мне девицы и женщины в богатом убранстве. Прославляя Венеру громкими песнями, они спешили в храм посвятить себя ей на служение. На лицах их спорили прелести, красота, удовольствие, радость, но все это было поддельно. Не было в них той благородной простоты, ни той милой стыдливости, без которых красота лишается сильнейшего очарования. Вид изнеможения, искусство притворствоваться, пышные наряды, томная поступь, глаза, ловившие взгляды мужчин, завистное рвение воспламенять сердца словом – все свойства этих женщин были низки, презрительны. Стараясь нравиться, они были от того еще отвратительнее.

Я хотел видеть храм Венеры. Храмы воздвигнуты ей в разных местах острова. Особенно она чтима в Цитере, в Пафосе, в Идалии.

Я был в Цитере. Тамошний храм, окруженный длинными рядами столбов, весь из мрамора. Огромность и высота столбов придают величественный вид всему зданию. Над воротами с каждой стороны сверху столбов изображены ваянием самые приятные черты жизни Богини любви. Преддверие всегда наполнено множеством народа, стекающегося для жертвоприношений.

Жертвы никогда не закладываются в священной окружности, ни тук⁵ волов и юниц, по обычаю многих иных стран, не предается огню, ни кровь там не проливается. Животные подводятся только к жертвеннику, и то молодые, белые, без недостатков и пятен, они покрываются багряными тканями, шитыми золотом; рога их, также все в золоте, украшаются венками из душистых цветов. От жертвенника их отводят в отдаленное место и там уже закалывают на пиршества жрецам, служащим богине.

Приносятся равным образом в жертву воды благовонные и вино, приятнейшее нектара. Жрецы облачаются в длинные белые ризы с золотой кругом внизу бахромой и с золотыми поясами. На алтарях днем и ночью курятся драгоценные восточные благоухания: дым от них облаком восходит к небу. Столбы в храме увиты цветами. Сосуды, употребляемые при жертвоприношении, все из чистого золота. Храм окружен священной миртовой рощей. Одни только отроки и отроковицы, цветущие молодостью и красотой, могут зажигать огонь на алтарях и представлять жрецам приносимые жертвы. Но великолепие храма помрачается бесстыдством и растлением нравов.

С первого шага я смотрел на все с омерзением, но незаметно глаза мои начали привыкать к пагубному зрелищу. Порок не приводил уже меня в ужас, общества, беседы возбуждали во мне наклонность к разврату, невинность моя стала в притчу, стыдливость и скромность в потеху необузданным кипрянам. Ничто не забыто, чем только можно было воспламенить во мне страсти, вовлечь меня в сети, возбудить во мне вкус к удовольствиям. С наступлением каждого дня я чувствовал в сердце новую слабость. Правила, в которых я воспитан, почти уже не поддерживали меня в преткновениях, исчезали все мои намерения, я не имел уже силы противоборствовать пороку, он манил меня к себе со всех сторон, я даже стыдился добродетели, был подобен человеку, плывущему по глубокой и быстрой реке. Сперва он рассекает шумные воды и борется с волнами, но если утесы препятствуют ему выйти на берег для отдохновения, то он мало-помалу изнемогает, истощается вся его крепость, утомленные члены немеют, и он далеко несется по стремлению бурного потока.

Так глаза мои омрачались, сердце мое тлело. Замолк во мне голос здравого разума, доблести отца моего изглаживались из моей памяти. Сновидение, в котором мудрый Ментор представился мне на Елисейских Полях, довершало во мне уныние. Я предавался приятнейшему, тайному томлению, пил уже в сладость яд смертоносный, переливавшийся во все мои жилы, проникавший во все мои кости; по временам вздыхал еще из глубины души, лились из глаз моих горькие слезы, как лев, я рычал в исступлении.

⁵ Жир с жертвенных животных. – Прим. изд.

– Несчастливая юность! – вопиял я. – О Боги, столь жестоко играющие судьбой смертных! Зачем вы определили им проходить этот возраст, время безумия и болезненных терзаний? О! Зачем я уже не покрыт сединами, не согбен под бременем лет, не близок ко гробу, как Лаэрт, дед мой?

Смерть была бы для меня не столь мучительна, как позорная моя слабость.

Так я тогда изливал свои чувства – и страдание души моей стихло, и сердце в чаду упоения готово было разорвать последние нити стыда. Вслед за тем тайный упрек вновь раздирал мое сердце. Шатаюсь мыслями, я скитался по священной дубраве, переходя из места в место, как серна, ловцом уязвленная, бегаёт по обширному лесу, чтобы утолить свою боль и страдание. Но стрела, прободившая ребро ее, с ней несется, пьёт кровь ее трость роковая. Так я тщетно бегал сам от себя: ничто не облегчало раны моего сердца.

В тот самый час я увидел на некотором от себя расстоянии, в мрачной тени дубравы образ мудрого Ментора, но не на радость: так его лицо было бледно, печально, сурово!

– Тебя ли я вижу, о друг мой! Единственная моя надежда! Тебя ли я вижу? Не призрак ли прельщает мои взоры? Тебя ли я вижу, Ментор! Или только тень твоя состраждет моим бедствиям? Не сопричислен ли ты уже лику блаженных духов, пожинающих плоды добродетели, вознагражденных от богов чистым весельем в вечном мире на Полях Елисейских? Жив ли ты, Ментор! Скажи мне. Неужели я и подлинно столь счастлив, что ты еще со мной? Или я вижу только тень верного друга? – так говоря, я не шел, а летел к нему в восхищении сердца, почти бездыханный. Он ожидал меня спокойно, не трогаясь с места. О! Боги! Вы видели мою радость, когда я почувствовал, что руки мои осязали его.

– Нет! Не тень мне является: я обнимаю, к сердцу прижимаю любезного Ментора! – так я воскликнул, пал к нему на выю⁶, облил его горячими слезами... далее не мог говорить.

Он смотрел на меня глазами, полными скорби и нежного соболезнования.

Наконец я сказал ему:

– Какими судьбами ты в здешнем месте? Каким опасностям без тебя подвергался я, одинокий! Что было бы со мной и теперь без тебя?

Вместо ответа на мои вопросы, он говорил мне страшным голосом:

– Беги! Не теряй ни мгновения, беги! Земля здесь производит не плод, а яд смертоносный, воздух здесь убийствен, жители, в язве, беседами передают друг другу тлетворную заразу. Позорное, скотское любострастие, ужаснейшее всех зол, вышедших из рокового сосуда Пандоры, растлевает сердца и гонит отсюда все, что есть добродетель. Беги! Что ты медлишь? И не озирайся. Истреби в себе даже воспоминание об этом пагубном острове.

Сказал он – и с глаз моих спала завеса, облако рассыпалось, открылось мне сияние чистого света. Радость мирная с духом непоколебимого мужества возвратилась в мое сердце, и как она отлична была от той бурной и сладострастной радости, которая прежде овладела всеми моими чувствами! Та радость есть чад упоения и прерывается необузданными страстями, терзательными угрызениями, а эта – есть радость разума, предвкушение блаженства, преддверие неба, она всегда ровна, всегда чиста, неистожима; чем более в ней утопаешь, тем она сладостнее восхищает сердце, не возмущая ясности душевной. Тогда я пролил радостные слезы и чувствовал, что такие слезы всего утешительнее.

– Счастлив тот, – говорил я, – кому добродетель является в полном блеске красот своих! Можно ли видеть ее и не любить? Можно ли любить ее и не блаженствовать?

Ментор сказал мне:

– Надобно нам разлучиться, я оставляю этот остров, невозможно мне долее медлить.

– Куда же ты уходишь, – отвечал я, – где такая необитаемая страна, куда бы я не пошел вслед за тобой?

⁶ На шею. – Прим. изд.

Мы ли расстанемся? Скорее погибну, – так говоря, я прижимал его всеми силами к сердцу.

– Напрасно ты удерживаешь меня, – продолжал он. – Жестокий Метофис продал меня аравитянам. Они, находясь по торговле в Дамаске, что в Сирии, встретили случай сбыть меня с рук с большой корыстью. Некто Газаил, желая знать наши нравы и науки, искал себе раба из греков и купил меня у них высокой ценой. Описание наших врагов возбудило в нем любопытство видеть Крит, испытать мудрость законов Миносовых. Буря принудила нас пристать к здешнему берегу. В ожидании благоприятной погоды Газаил пошел в храм принести жертву, – и вот возвращается. Веет попутный нам ветер, корабль ждет нас под парусами. Прощай, любезный мой Телемак! Раб, боящийся богов, должен быть верен господину. Боги не предоставили мне располагать жизнью по своей воле. Если бы я был независим, они свидетели – я жил бы тогда для одного тебя. Прощай! Помни подвиги Улиссовы, не забывай слез своей матери, помни богов правосудных. О! Боги, защитники невинности! В какой стране я должен оставить Телемака!

– Нет! Любезный Ментор! – отвечал я. – Покинуть меня здесь не в твоей власти. Умру – а без меня не пойдешь ты отсюда. Неужели сириец, господин твой, без всякой жалости? Неужели он в младенчестве вскормлен сосцами лютого зверя? Захочет ли он исторгнуть тебя из рук моих? Он должен лишить меня жизни или взять вместе с тобой. Сам убеждаешь меня искать спасения в бегстве и не хочешь быть моим спутником. Прибегну к Газаилу, может статься, он сжалится над юностью, над слезами моими. Когда он любит мудрость и идет за ней в страну дальнюю, чуждую, то сердце его не может быть бесчувственно и злобно. Паду к его ногам, облобызаю колена, не отступлю от него, доколе он не приклонится на мои слезы. Любезный Ментор! Я буду рабом его вместе с тобой, пойду к нему в слуги. Отказ его решит мою участь: избавлю тогда себя от горестной жизни.

В тот самый час Газаил позвал к себе Ментора. Я пал к его ногам. Неожданное для него было явление: человек неизвестный – в таком положении.

– Чего ты от меня хочешь? – спросил он.

– Жизни! – сказал я. – Не могу я остаться в живых, если ты не позволишь мне быть неразлучно с рабом твоим Ментором. Я сын великого Улисса, мудростью первого между всеми царями, обратившими в пепел великолепную Трою, венец и красу Азии. Не тщеславлюсь я своим родом, хочу только возбудить в тебе хоть слабое сострадание к несчастной своей доле. Я измерил моря вслед за отцом своим. Ментор был мне вторым отцом в моих странствованиях. Судьба, чтобы исполнить меру моих бедствий, отняла у меня и его, единственного друга, отдала тебе его в рабство. Пусть и я буду рабом у тебя. Если ты нелестно любишь истину и предпринял путешествие в Крит с тем намерением, чтобы узнать законы добродетельного Миноса, то не ожесточи своего сердца, сжался над воздыханиями, над слезами моими. Сын царский у ног твоих и принужден молить о последней для себя милости – о рабстве. В Сицилии некогда я требовал смерти вместо неволи, но прежние мои горести были еще легкие удары враждебного рока. Теперь и в число рабов, может статься, не буду я принят. О! Боги! Воззрите на все мои страдания. О! Газаил! Вспомни Миноса, великого мудростью: он будет общим нашим судьей в царстве Плутоновом.

Газаил, взирая на меня с кротким видом соболезнования, подал мне руку и поднял меня.

– Мне известны, – говорил он, – доблесть и мудрость Улиссовы. Ментор часто описывал мне снисканную им между греками славу. Но и без того быстрая молва возвестила его имя всем народам на Востоке. Живи со мной, сын Улиссов! Я буду тебе отцом, пока боги не возвратят тебе родителя. Если бы даже ни слава отца твоего, ни бедствия его и твои не внушали мне сострадания, то одна дружба моя к Ментору заставила бы меня принять участие в твоём жребии. Подлинно, я купил его в виде раба, но берегу, как верного друга, друга любезнейшего и драгоценного я приобрел в нем ценой золота, в нем нашел мудрость, ему обязан всей любо-

вью к добродетели. Он свободен, свободен и ты, Телемак! Сердца ваши только пусть останутся моими.

В мгновение ока я перешел от самой мучительной горести к восхитительнейшей радости, какая только свойственна смертному: был вне опасных сетей, приближался к отечеству, встретил неожиданное к тому пособие, имел отраду быть с человеком, полюбившим меня по бескорыстной любви к добродетели – все наконец возвращалось мне с возвращением навсегда уже Ментора.

Газаил идет к берегу, мы за ним следуем, взошли на корабль... Закипели под веслами тихие воды, легкий ветер заиграл парусами; корабль, оживленный, быстро двинулся в море: скоро Кипр скрылся от взоров. Газаил, желая испытать мои чувства, любопытствовал знать образ моих мыслей о нравах острова. Я изъяснил ему искренно все опасности, которыми там был окружен по своей молодости, и всю борьбу от того в сердце. Отвращению моему к пороку отдав справедливость, он сказал:

– О! Венера! Я чту твою власть и власть твоего сына, воскурил фимиам на твоём жертвеннике; но прости мне: гнушаюсь я позорным сладострастием обитателей твоего острова и скотским бесстыдством, сопровождающим твои празднества.

Потом Газаил беседовал с Ментором о первоначальном Могуществе, сотворившем небо и землю, о беспредельном, вовеки немерцающем Свете, который наполняет все собой, сам нераздельный, о вседержавшей и всеобъемлющей Истине, которая просвещает все умы, как солнце озаряет всякое тело.

– Кто никогда не видел, – говорил он, – чистого света Истины, тот подобен слепорожденному: он влачит жизнь в глубокой ночи, подобно народам, для которых солнце не восходит несколько месяцев сряду; мечтает быть мудрым – и никогда не может прийти в разум истины, мнит быть всевидящим – и ничего во мраке не видит, сходит и в гроб, не прозревши, или усматривает, но только в сумраке, ложные мерцания, тщетные тени, как дым, мимо текущие призраки. Таков жребий всех, увлекаемых лстивыми чувствами и мечтой воображения! Истинный на земле человек только тот, что испытует, кто любит вечный Разум и избирает его себе наставником в жизни. Он внушает нам благие желания. Он осуждает нас за злые помыслы. Все мы приемлем от исполнения его ум с самой жизнью. Он есть бесконечное море света, умы наши – малые струи, исходящие из бездны этого моря и текущие с ним же сливаться.

Я не постигал еще в полной мере столь глубокой мудрости, но предвкушал в ней что-то выпреннее, чистое, сердце мое согрелось теплотой незримого света, в каждом слове, казалось мне, блистал ясный луч истины.

Они продолжали рассуждать о начале богов, о героях, о песнопевцах, о золотом веке, о потоке, о первых преданиях рода человеческого, о реке забвения, в которую погружаются души умерших, о вечных страданиях, уготованных злочестивым в мрачных пропастях Тартара, и о том неизглаголанном мире, которым праведные наслаждаются на Полях Елисейских, не боясь уже в нем изменения.

Посреди беседы вдруг мы увидели дельфинов, сверкавших злато-лазуревой чешуей. Выпрядая один за другим из-под черных зыбей, они взрывали воду пенистыми буграми. За ними тритоны трубили в извитые раковины, окружая колесницу Амфитритину, везомую белыми, как снег, морскими конями.

Рассекая влажную пучину, они оставляли далеко за собой след широкими бороздами, их челюсти дымились, из очей сыпались искры. Огромная раковина чудесного вида, белизной блистательнее слоновой кости, служила богине вместо колесницы, колеса были золотые, она скользила по ясному зеркалу вод. Нимфы, в венках из цветов, плыли во множестве за колесницей. Длинные волосы, распущенные, сходили по плечам их волной. С золотым в руке жезлом, которому волны послушны, другой рукой богиня держала на коленях сына, бога-младенца Палемона: с лицом светлым и радостным она являла величие, сливанное с кроткой благостью.

Свирепые бури и наглые вихри молчали. Тритоны правили коней золотыми вожжами. Великолепная ткань багряного цвета веяла в виде паруса над колесницей. Резвые зефиры-младенцы старались двигать ее дуновением. Вдали виден был в воздухе Эол, исполненный внимания, страха и пламенного рвения. Лицо его, покрытое морщинами, пасмурно, грозный голос, густые брови, опавшие, глаза, как молнии, смирляли гордых аквилонов⁷ и гнали с неба черные тучи. Заиграли великие киты и все страшилища бездны, пускали из ноздрей воду волнами, опять поглощали целые волны, и из пучин выходили увидеть светлые очи богини.

⁷ Аквилон (*лат.* aquilo – aquilonis – «северный ветер») – древнеримское название северо-восточного, иногда северного ветра. Как и другие ветры, Аквилон представляли божеством, олицетворявшим эту силу природы; соответствовал древнегреческому Борею. – *Прим. изд.*

Книга пятая

Прибытие в Крит.

Избрание царя по случаю бегства Идомениева.

Игры народные. Телемак приобретает право на царство.

Долго мы любовались этим величественным явлением. Между тем зачернелись Критские горы. Сначала мы с трудом отличали их от синих волн и от облаков. Скоро показалось чело Иды, господствующей над всеми около нее другими горами, так в лесу старый олень возносит ветвистые рога над всем вокруг него стадом. Самый берег мы видели час от часу явственнее, наконец, открылось вверх по скату живописное зрелище. Земля здесь не походила на землю на Кипре: там неводеланная, брошенная пустыня, здесь земля красовалась богатством своим и всеми плодами труда рук человеческих.

Издадека еще мы усматривали веси благоустроенные, села, с городами равнявшиеся, города великолепнейшие, не встречали поля, по которому не прошел бы плуг трудолюбивого земледельца, всюду он оставил след по себе глубокими полосами. Дикие терны, тунеядные травы на Крите совсем неизвестны. С каким удовольствием мы смотрели на тенистые доли, где рев тучных волов откликался на пажитях⁸ по берегам светлых потоков, на овец, рассеянных стадами по скатам холмов, на пространные поля, покрытые богатой жатвой, даром неистощимой Цереры, на горы, осененные виноградными лозами, на которых зрелые уже гроздья предвещали делателю животворный Вакхов плод, веселящий смутное сердце!

Ментор был тогда на Крите не в первый раз и сообщал нам все свои о нем сведения.

– Этот остров, – говорил он, – предмет удивления для всех путешественников, числом ста городов знаменитый, свободно довольствует всех обитателей, как они ни многочисленны. Земля никогда не перестает расточать своих сокровищ в награду за труд. Обильные недра ее неисчерпаемы. Чем более в стране жителей, тем больший у них избыток во всем при неослабном трудолюбии. Не для чего им друг другу завидовать. Земля, как добрая мать, умножает богатство по числу детей своих, когда они трудом заслуживают плоды, ею даруемые. Властолюбие и любостяжание – единственные источники бедствий человеческих. Люди алчны, и жадностью к излишнему делают сами себя несчастными. Если бы они умели ограничиваться в простоте нравов удовлетворением истинных надобностей, то везде царствовали бы изобилие, радость, мир и согласие.

Минос, пример царям в мудрости и добродетели, знал эту истину. Все здесь подлинно дивные установления – плоды его законов. Учрежденное им воспитание юношества дает телу силу и крепость. Дети прежде всего приучаются к образу жизни простой, воздержной и деятельной. Всякая нега, по мнению критян, расслабляет тело и душу. Вместо забав юношам предлагаются подвиги, где они могут отличиться доблестью, снискивать славу. Мужеством они считают не только презрение к смерти на поле боевом, но и в отвержении богатства излишнего, удовольствий позорных. Три порока, в иных местах безнаказанно терпимые, на Крите наказываются: неблагодарность, притворство и сребролюбие.

Нет нужды здесь обуздывать пышности и роскоши: на Крите они совсем неизвестны. Здесь каждый трудится, но никто не алчет обогащения, а всякий считает довольным за труд возмездием тихую и благоустроенную жизнь, когда имеет все подлинно нужное в изобилии под мирным своим кровом. Воспрещены здесь драгоценные утвари, великолепное одеяние, позлащенные дома, роскошные пиршества. Обыкновенное у всех одеяние из тонких рун прекрасного цвета, но без шитья и узоров. В употреблении вина и в пище большая умеренность, хороший хлеб, молоко и плоды – главная пища, мяса вообще мало едят, и то без сладостных

⁸ Пастбища с густой, сочной травой. – Прим. изд.

приправ, а лучший рогатый скот в многочисленных стадах бережется для земледелия. Дома чисты, покойны, веселы, но без украшений. Великолепное зодчество не изгнано, но оставлено для храмов, богам посвящаемых: люди не смеют сооружать себе домов, подобных жилищам бессмертных. Здоровье, сила, мужество, семейное согласие, мир, свобода, избыток во всем нужном, презрение всего излишнего, труд, отвращение от праздности, любовь к добродетели, покорность законам, страх к богам – вот что составляет у критян величайшее благо!

– В чем состоит власть царя критского? – спросил я Ментора.

– Царь имеет здесь полную власть над подданными, – отвечал он, – но сам под законом. Власть его неограниченна во всем, что зиждет благо народа, но руки его связаны, когда на зло обращаются. Законы вверяют царю народ как залог, всего драгоценнейший, с тем, чтобы он был отцом своих подданных, требуют, чтобы один мудростью и кротостью способствовал благоденствию многих, а не того, чтобы тысячи питали гордость и роскошь одного, сами пресмыкаясь в бедности и рабстве. Царю не предоставлено здесь никакого иного отличия перед другими, кроме того, что нужно для облегчения возложенного на него бремени, или может поддерживать в народе почтение к тому, кто подпора законов. Впрочем, он первый обязан предшествовать собственным примером в строгой умеренности, в презрении к роскоши, пышности, тщеславию. Отличаться он должен не блеском богатства и не прохладами неги, а мудростью, доблестью, славой. Извне он обязан быть защитником царства, предводителем рати, внутри – судьей народа, и утверждать его счастье, просвещать умы, исправлять нравы. Боги вручают ему жезл правления не для него, а для народа: народу принадлежит все его время, все труды, вся любовь его сердца, и он достоин державы только по мере забвения самого себя, по мере жертвы собой общему благу.

Минос не хотел передать царство в наследие детям без непреложного от них обета царствовать по его правилам. Любовь к отечеству восторжествовала в нем даже над любовью к детям. И такую-то мудростью он возвел Крит на высочайшую степень могущества и благоденствия, такой победой над самим собой затмил славу завоевателей, осуждающих народы в жертву алчному властолюбию, называемому величием, такой, наконец, справедливостью заслужил звание верховного судии земнородных по смерти.

В продолжение беседы пристали мы к берегу, и тотчас пошли посмотреть на славный критский лабиринт, творение рук остроумного Дедала, подражание великому лабиринту египетскому. Обозревая это здание, достойное любопытства, мы увидели толпы народа, стекавшегося на равнину почти у самого берега, и спросили о причине волнения. Критянин по имени Наузикрат рассказывал нам следующее:

– Идомений, сын Девкалионов и внук Миносов, был под Троей с прочими греческими царями. По разрушении Трои, когда он возвращался уже в свою область, поднялась на пути сильная буря. Кормчий и все искуснейшие мореходцы обрекли корабль на неизбежную гибель, смерть была у всех перед глазами, каждый видел разверстую бездну, каждый оплакивал бедственную свою долю, теряя даже надежду иметь печальное успокоение теней, переходящих, по погребении тел, через воды Стикса. Идомений, возведя на небо очи и руки, воззвал к Нептуну:

– Бог всемогущий! – воскликнул он. – Ты, которому предана власть над морями! Услышь несчастного. Если под кровом твоим достигну я Крита сквозь ужасы вихрей, то первый, кто предстанет моим взорам, будет принесен тебе в жертву.

Сын, пылая нетерпением обнять отца, спешил между тем встретить его у пристани. Несчастный! Не знал он, что стремился к своей гибели. Идомений, спасенный от бури, приближался к родному берегу, воссылая благодарение Нептуну, внявшему его молению, но скоро увидел пагубные следствия дерзкого обета. Предчувствие убийственного удара до того еще терзало его сердце раскаянием. Он боялся встретить близких, встретить то, что было ему всего в мире дороже. Жестокая Немезида, богиня неумолимая, недремлющая и правосудно карающая смертных, а более всего – надменных царей, вела его роковой незримой дланью. Он сходит

на берег, возводит со страхом робкие взоры и видит сына – отпрянул и в ужасе ищет глазами, но тщетно, жертвы не столь драгоценной.

Сын падает к нему на выю и, изумленный столь неожиданным воздаянием от отца за сыновнюю нежность, видит его в горьких слезах.

– Любезный отец! – говорил он ему. – Отчего твои слезы? Неужели прискорбно тебе, после столь долгого отсутствия, возвратиться в отечество, утешить верного сына? В чем я виновен? Ты отвращаешь от меня взоры, боишься взглянуть на меня.

Отец молчал в глубокой горести сердца. Наконец после многих вздыханий он воскликнул:

– О! Нептун! Что я обрек тебе в жертву! Какого возмездия ты требуешь от меня за спасение жизни? Повергни меня обратно на камни и в волны: пусть они, растерзав мое тело, пресекут несчастные дни мои: сохрани жизнь моего сына. Жестокий бог! Вот кровь моя: пощади кровь моего сына! – сказал и, выхватив меч, хотел вонзить его в грудь себе. Предстоявшие удержали его за руку.

Старец Софроним, истолкователь воли богов, уверял его, что он мог иной кровью заменить кровь сына, Нептуну обещанную. Обет на себя ты положил неосмотрительно, говорил он: богам неугодны жестокие жертвы. Страшись приложить погрешность к погрешности и совершением дерзкого обета нарушить законы природы. Принеси сто волов, белых, как снег, во всеожожение Нептуну, пролей кровь их окрест его жертвенника, цветами обвитого, воскури драгоценный фимиам в честь богу.

Идоменей слушал советы с поникнувшей головой, не отвечая ни слова. Глаза его пылали, бледное, истерзанное лицо ежеминутно изменялось в цвете, все члены его содрогались. Между тем сын говорил ему:

– Любезный отец, сын твой готов быть жертвой умилоствления. Не навлекай на себя гнева страшного бога морей. Я умру с удовольствием, когда твоя жизнь будет искуплена ценой моей крови. Вот мое сердце! Любезный отец! Ты не найдешь во мне недостойного сына, робкого пред лицом смерти.

Тогда Идоменей в исступлении, вне себя, будто раздираемый адскими фуриями, в одно мгновение ока, невзирая на все наблюдение предстоящих, вонзает меч в сердце невинного юноши, вдруг исторгает из него роковое оружие, обагренное кровью, дымящееся, и возносит на самого себя, но вторично удержан.

Несчастный сын обливается кровью, глаза его меркнут, отягощенные тенью смерти, он возводит еще к свету потухшие взоры, но свет уже стал для него убийственной язвой. Как прекрасный крин, подсеченный в корне острием плуга, колеблется и падает, прелестный блеск его не помрачился, и нежная белизна еще не завяла, но земля уже не вскормит его, и жизнь погасшая не возвратится. Подобно юному крину, сын Идоменеев погиб в расцвете возраста.

Отец, от горести бесчувственный, оцепеневший, не видит, где он, не помнит содеянного, не знает, на что решиться; на дрожащих ногах, наконец, идет в город и зовет к себе сына.

Но народ, подвигнутый состраданием к несчастному сыну и омерзением к зверообразной жестокости отца, вопиет, что правосудные боги предали фуриям Идоменея. Толпы рассвирепевшие ринулись, хватают дреколье, камни – оружие ярости, раздор зажигает в сердцах смертоносное пламя. Критяне, просвещенные критяне, забыв столь ими чтимую мудрость, отложились от внука Миносова. Друзья его, не видя иного средства к спасению, спешат возвратиться с ним на корабли и бегут из отечества. Идоменей, пришедши в чувство, благодарит их, что исторгли его из земли, которую он обагрил сыновней кровью и где жизнь была бы для него мучительной казнью. Юпитер обратил их к Гесперии, где они основали новое царство в стране Салентинской.

Лишась царя, критяне положили избрать на его место другого, который соблюдал бы свято законы. Вот порядок избрания: созваны из всех ста городов знатнейшие граждане,

всему предшествуют жертвы; приглашены из окрестных стран знаменитые мудростью мужи для испытания разума достойных верховной власти, назначены игры, где все соревнователи обязаны показать свои подвиги пред собранием народа. Мы желаем отдать жезл правления в награду тому, кто победит всех прочих умом и крепостью, желаем иметь царя, с отличной телесной силой соединяющего отличные свойства души, добродетель и мудрость. Приглашаются сюда и иноземцы.

Окончив удивительную повесть, Наузикрат говорил нам: идите и вы, странники, в наше собрание! Станьте вместе с другими на поприще соревнования, и тот из вас, кому боги даруют победу, будет царствовать на нашем острове. Мы приняли совет его не по тщеславному желанию быть победителями, но чтобы увидеть столь чрезвычайное зрелище.

Пришли на просторное ристалище, затененное мрачной дубравой. Посредине была усыпанная песком равнина для ратоборцев. Кругом устроены были места из зеленого дерна обширными уступами. Снизу доверху рядами тьма была зрителей. Мы приняты с уважением: критяне считают гостеприимство священной обязанностью. Предоставлено нам почетное место, предложено участие в играх. Ментор отказался по старости, а Газаил по слабости здоровья.

Мне лета и крепость не позволяли последовать их примеру. Взглянул я, однако, на Ментора, чтобы отгадать его мысли, и, приметив его согласие, принял предложение, снял с себя одеяние и, весь облитый светлым, приятнейшим маслом, стал наряду с прочими соревнователями. Заговорили, что сын Улиссов пришел искать славы победы, многие критяне, бывшие в Итаке во время моего малолетства, узнали меня.

Испытание началось единоборством. Некто, родянин, в летах зрелого мужества, преодолел всех, ему противостоявших. Он был еще во всем цвете силы, руки его были крепкие, полные, при малейшем движении все его жилы играли, сила и гибкость в нем были равные. Считая за бесчестье победить слабого нежного юношу, он взглянул на меня с сожалением и хотел удалиться. Я вышел к нему навстречу. Вмиг мы схватились, друг друга сжали, стояли почти бездыханные, плечом против плеча, ногой против ноги, все жилы у нас вытянулись, переплелись, как змеи, руки, оба мы истощали усилия: кто поколеблет соперника. Он рвался сдвинуть меня с места направо и вдруг неожиданно сбить с ног в противную сторону. Между тем, как он так измерял мою крепость, я поворотил его столь быстро, внезапно, что он зашатался, грянулся наземь, повлек и меня за собой. Труд его свергнуть меня был бесполезен: он лежал подомной недвижимый. Народ воскликнул: слава сыну Улиссову! Я помог встать посрамленному родя ни ну.

Кулачный бой был труднее единоборства. Сын богатого гражданина самосского славился в этом роде сражения. Все уступили ему, я один спорил с ним о победе. С первого шагу он ударил меня в голову, потом в бок с таким остервенением, что кровь из меня ручьем полилась, в глазах потемнело, ноги подомной подломились, оглушенный, я получал удар за ударом, дыхание во мне прерывалось. Ободрил меня громким голосом Ментор.

– Тебе ли пасть побежденным, сын Улиссов! – сказал он.

Гнев оживил меня новыми силами, я ускользнул от многих ударов и столько же раз от явной смерти. Каждый раз, как соперник мой, вытянув руку, хотел сокрушить меня, но делал промах, я поражал его в этом телодвижении. Он отступал уже с места сражения; вдруг я, как молния, на него грянул, он хотел уклониться и потерял равновесие, я повалил его наземь. Едва он обрушился, я тотчас подал ему руку, но он сам встал, покрытый пылью, и кровью, и стыдом неописанным: не смел, однако же, возобновить битвы.

Немедленно за тем началось ристание на колесницах. Колесницы розданы по жребию, мне досталась худшая всех по огромности колес и по слабости коней. Двинулись с места: пыль полетела перед нами тучей, небо сокрылось. Я пустил всех вперед с первого шагу. Крантор, молодой лакедемонянин, тотчас обогнал прочих сподвижников. Поликлет, критянин, по следам его мчался. Гиппомах, родственник и мнимый преемник Идоменея, ослабив вожжи, свис

на волнистые гривы коней, от пота дымившихся. Колеса под ним от быстроты невероятной, казалось, вовсе не двигались, подобно крыльям орла, когда он парит под небесами. Мои кони между тем воспаляются, бегут, несутся как стрелы – далеко отстали от меня все соискатели, начав ристание с таким жаром и рвением. Гиппомах, родственник Идоменея, гнал нещадно коней своих, лучший из них преткнулся, упал и лишил его надежды достигнуть цели желанной.

Поликлет, весь почти свесившись, не мог устоять в колеснице от сильного вдруг потрясения, пал, выронив вожжи из рук, и счастье его, что еще спасся от смерти. Крантор, видя очами, исполненными негодования, что я следовал уже по пятам его, пришел в исступление: то взывал к богам, обещая им богатые жертвы, то ободрял коней словами и криком, – боялся, чтобы я не промчался мимо него вдоль ограды: и подлинно, могли проскакать мимо него мои кони, не столько еще утомленные. Оставалось ему одно средство – заградить мне дорогу. В этом намерении он колесницей быстро ударил в ограду. И колесо его тут же рассыпалось. Мгновенным поворотом я успел ускользнуть от беды. Я скоро был на краю поприща. Народ вновь воскликнул:

– Слава сыну Улиссову! Боги судили ему царствовать над критянами.

Потом граждане, знаменитые мудростью и заслугами, повели нас в древнюю священную дубраву, удаленную от взора непросвещенных. Там мы предстали старцам, которых Минос поставил судиями народу и блюстителями законов. Одни сореброватели здесь находились, никто другой не был впущен.

Старцы открыли книгу законов Миносовых. Я подошел к ним со страхом и благоговением. Старость, внушая почтение к ним, сама чтит их душевные силы. Они по порядку сидели, каждый неподвижно на своем месте, все были покрыты сединами, у некоторых и седин уже не было. Лицо каждого было зеркалом мудрости мирной и кроткой, они не спешили в совещаниях, и все их речи были зрелыми плодами размышления. При различных мнениях каждый излагал свои мысли с таким непоколебимым спокойствием, что казалось, будто они совсем не рознились в образе мыслей. Многолетний опыт и непрерывный труд даровали им быструю прозорливость. Но высочайшее совершенство их разума проистекало от мира душевного, не возмущаемого уже ни волнением страстей, ни превратными желаниями, сродными юности. Сама мудрость в них воплотилась, и плод постоянной их добродетели состоял в столь глубоком преломлении и укрощении всех страстей, что они безмятежно вкушали чистейшее, достойнейшее человека удовольствие – внимать голосу здравого разума. Я смотрел на них с удивлением, желал, чтобы жизнь моя сократилась, желал вдруг перейти к старости, столь достопочтенной, юность считая несчастьем, вспоминая, в каком вихре страстей она протекает и как далека от просвещенной и мирной добродетели.

Первый из старцев раскрыл законы Миносовы, великий свиток, обыкновенно хранимый в золотом ковчеге с благоуханиями. Все старцы приложились к нему с благоговением.

– После богов, – говорили они, – от которых все благотворные установления, для человека нет ничего священнее законов, руководящих к добродетели, мудрости и счастью. Тот, кому вверены законы для управления, должен первый всегда и во всем покоряться законам. Закон, а не человек должен властвовать.

Так рассуждали старцы. Потом старейший из них предложил три вопроса, которые надлежало решить по образу мыслей Миносовых.

Первый вопрос был следующий:

– Кто свободнее всех?

Одни почитали свободнейшим из смертных государя, царствующего с неограниченной властью и победившего всех неприятелей, другие – богатого, обладающего всегда готовыми способами на удовлетворение всякого желания, те – холостого, провождающего жизнь в путешествии без всякой обязанности повиноваться законам той или другой страны, иные – дикого, живущего в лесах звериной ловлей и не знающего ни нужды, ни подчиненности, многие –

отпущенного недавно на волю и после уз горестного рабства чувствующего более всех других сладость свободы. Наконец, некоторые утверждали, что свободнее всех умирающий, потому что смерть избавляет его от трудов и болезней и престаёт над ним власть человеческая.

Дошла до меня чреда. Нетрудно мне было отвечать, все, что о свободе я слышал от Ментора, сохранялось в моей памяти. Свободнейший из смертных тот, – говорил я, – кто может быть свободен даже и в рабстве. Человек, в какой бы он ни был стране и доле, совершенно свободен, когда боится богов и ничего не боится, как только богов. Словом, истинно свободен тот, в ком умерли всякое чувство страха и всякое желание и кто покорен только богам и здравому разуму. Старцы посмотрели друг на друга с улыбкой и удивлялись. Я только повторил слова Миновы.

Второй вопрос был:

– Кто несчастнее всех?

Каждый в ответах следовал первой своей мысли. Одни называли несчастнейшим из смертных того, кто лишен богатства, чести, здоровья, другие – того, у кого нет друга, иные – отца, имеющего детей, недостойных его и неблагодарных. Один мудрец с Лесбоса сказал, что несчастнее всех тот, кто почитает себя несчастным: несчастье не столько от самой беды, сколько от нетерпения, беду увеличивающего.

Сказал он, – и все воскликнули, громкими рукоплесканиями провозгласили его победителем. Старцы обратились ко мне, я отвечал по правилам Менторовым:

– Несчастнее всех государь, усыпленный в мнимом благополучии, между тем как народ стонет под его игом. В ослеплении он сугубо несчастлив: не зная болезни, не может и излечиться, боится даже узнать ее. Истина не доходит до него сквозь толпу ласкателей. Терзаемый страстями, он не знает своих обязанностей, не чувствует утешения быть благодетелем рода человеческого, не знает радости, даруемой чистой добродетелью: он несчастлив и достоин такого жребия. С наступлением каждого дня возрастает его злополучие. Он сам стремится к своей гибели, а небесное правосудие готовит ему вечные казни.

Все единогласно признали, что я победил мудрого лесбосца. Старцы также возвестили, что мнение мое было сходно с Миновым.

Предложен, наконец, третий вопрос:

– Кто предпочтительнее, царь ли воинственный, непобедимый или неопытный в ратном деле, но способный в мире управлять мудро народом?

Многие предпочитали царя непобедимого в брани, говоря: что в таком государе, который может благоразумно царствовать в мирное время, но не умеет защитить отечества, когда война возгорится? Враги восторжествуют и поработят его подданных.

Другие, напротив того, превозносили царя миролюбивого, предворяющего войну прозорливыми попечениями.

Иные рассуждали, что государь-завоеватель вместе с собственной славой возвышает славу народа и дает в руки ему средства быть повелителем прочих народов, между тем, как миролюбивый царь оставляет своих подданных в позорной безвестности. Желали знать мое мнение, я отвечал:

– Царь, способный только войну вести или только управлять в мирную пору, не соединяя в лице своем вождя на случай войны и судии в мирное время, не есть царь совершенный. Но если вы сравниваете царя, искусного только в войне, с мудрым царем, который, сам не зная ратного дела, может в необходимости вести войну посредством военачальников, то я предпочитаю последнего первому. Царь, воспитанный в духе военном, всегда будет искать войны для распространения своих пределов, для славы личной; тем он разорит, наконец, свою область. Какая же польза народу, когда царь его покоряет чуждые царства, а он, между тем, бедствует под его властью? Война продолжительная влечет за собой бесчисленные неурядицы. Сам победитель изнемогает в бурную годину. Вспомните, какими жертвами Греция купила торже-

ство над Троей? Более десяти лет без царей и правления она истощалась. Когда война объемлет все убийственным пламенем, тогда законы молчат, земледелие, художества страждут. Царь, отличный добрыми намерениями, во дни бранной грозы часто против воли смотрит сквозь пальцы на величайшее зло, щадит своеволие и под знаменами своими терпит злодеев. Сколько преступников восприняли бы в мирное время достойные казни, тогда как нужда велит награждать их дерзость в бурю военную? Не было еще примера, чтобы народ не страдал под державой царя-завоевателя от его властолюбия. Ослепленный ложной славой, он почти столько же разоряет свой победоносный народ, сколько и побежденных. Без дарований, нужных в мирное время, он утратит плоды самой счастливой войны: их не пожнут и не вкусят его подданные. Он подобен человеку, который не только в распре с соседом за свое поле, но отнимает насильственно и чужую, смежную землю, сам не умея ни пахать, ни сеять, ни собрать жатвы. Он послан в мир, чтобы расхитить, разрушить, смешать все железным жезлом, а не для того, чтобы мудрым правлением устроить благо народа.

Обратимся к царю миролюбивому. Он не рожден к великим завоеваниям или, лучше сказать, не на то рожден, чтобы потрясать счастье своих подданных, покоряя себе мечом и огнем чужие народы, не вверенные ему справедливостью. Но если он истинно способен к мудрому правлению в мирное время, то имеет и все нужные свойства к ограждению своей страны от неприятелей, и вот как: он справедлив, умерен в требованиях, добрый сосед, ничего не предпринимает, что могло бы нарушить спокойствие, верен в союзах, любим союзниками, силен общим к нему доверием. Будет у него предприимчивый, строптивый, надменный сосед – все другие цари, страшась властолюбивого нрава и не завидуя мирному соседу, соединятся с добрым царем, чтобы совокупными силами отразить нападение. Правота его, умеренность, твердость в слове делают его судьей всех стран, окружающих его область, и между тем как надменный, ненавидимый всеми сосед не сегодня завтра увидит вокруг себя зарево общего вооружения, он, блюститель, отец царств и царей, наслаждается в тишине вожденнейшей славой. Такими преимуществами он пользуется во внешних сношениях!

Внутренние выгоды его несравненно существеннее. Я предполагаю, что он, с дарованиями к управлению в мирное время, управляет по самым мудрым законам: изгнаны из страны его роскошь, суетное великопение, все искусства, которые пища пороку; процветают в ней, напротив того, художества, полезные к облегчению истинных нужд человеческих, и особенно земледелие. Народ его в изобилии, и при невинной простоте нравов, довольствуясь малым, приобретая удобно трудом скромный избыток, возрастает в числе и в крепости. Обитает, таким образом, в царстве его народ многочисленный, и притом сильный, неутомимый, не расслабленный роскошью, воспитанный в трудах, не привязанный к праздным и сладострастным удовольствиям, умеющий презирать ужасы смерти, готовый скорее лишиться жизни, чем мирной свободы под державой мудрого царя, которого рукой истинный раз пишет законы. Пусть ополчится алчный завоеватель: может быть, он не найдет его народа отлично искусным в расположении ратного стана, в боевом строе, в действии осадными орудиями, но найдет его непобедимым по многочислию, по мужеству несокрушимо, по терпению в перенесении трудов и скорбей, по твердости в нуждах убожества, по неустрашимости перед врагами, по добродетели, непоколебимой посреди самых несчастных превратностей. Наконец, если он не может сам предводительствовать войском, то вверит его искусным полководцам и, мечом их поражая врагов, не ослабит своей власти. Союзники притекут к нему в помощь, подданные его согласятся скорее погибнуть, нежели перейти под иго чужого царя, необузданного и несправедливого. Наконец, боги его поборники. Такие способы он будет иметь даже в величайших опасностях!

Заключаю, что миролюбивый царь, не знающий ратного искусства, есть царь весьма несовершенный: он не может сам исполнить важнейшей обязанности своего звания – отражать и побеждать врагов своей области. Невзирая на это, он несравненно предпочтительнее завоева-

теля, не имеющего нужных способностей к правлению в мирное время и сродного только к оружию.

Видел я многих, несогласных с моим мнением: большая часть людей, ослепляясь внешним блеском подвигов звучных – побед, завоеваний – предпочитает блеск тому, что просто, тихо и прочно – миру и благоустройству народов. Но все старцы объявили, что я отвечал сходно с образом мыслей Миносовых.

Первый из них сказал:

– Я вижу теперь исполнение прорицалища Аполлонова, известного на всем нашем острове. Минос вопрошал бога: долго ли род его будет царствовать по законам, им установленным? Род твой, – отвечал ему бог, – перестанет царствовать, когда чужеземец придет в Крит утвердить царство законов. Мы боялись, чтобы какой-нибудь иноплеменник с мечом в руке не покорил нашего острова. Но несчастье Идомениево и мудрость сына Улисса, проникающего истинный смысл законов Миносовых, открывают нам волю прорицалища. Что мы медлим возложить царский венец на того, кого сама судьба нам указывает?

Книга шестая

Телемак и Ментор отказываются от престола.

Аристомед провозглашается царем Критским.

Отъезд из Крита.

Буря на море.

Немедленно старцы выходят из священной дубравы, и главный из них, взяв меня за руку, объявляет народу, волнуемому нетерпеливым желанием знать конец совещания, что я приобрел первое право на царство. Сказал он – и шумный говор поднялся в собрании, загремели радостные клики, берег и горы окрестные огласились восклицанием: да царствует над критянами сын Улиссов, подобный Миносу!

Я пробыл несколько времени зрителем общего порыва, потом поднял руку, испрашивая внимания. Между тем Ментор сказал мне на ухо: неужели ты презришь отечество, забудешь для блеска царского сана и Пенелопу, ожидающую тебя, последнюю надежду, и великого Улисса, который под кровом богов возвратится на родину? Слова его, как стрела, прошли в мое сердце, и смолкло в нем властолюбие.

Глубокая тишина последовала за шумным волнением. Я говорил:

– Знаменитые критяне! Я не достоин принять жезл правления. Преданное вам предсказание подлинно знаменует, что род Миносов перестанет царствовать, когда странник придет на ваш остров и восставит у вас законы древнего вашего мудрого венценосца, но оно не предвзовет, что тот же странник будет и царствовать. Лестно мне думать, что я тот, кого прорицалище предзнаменовало: я исполнил предсказание, пришел на ваш остров, изъяснил истинный смысл ваших законов, и пусть изъяснение мое послужит к утверждению власти их в лице того, кого вы выберете на царство. А для меня отечество мое, бедная, малая Итака, драгоценнее и ста городов, и всей славы, и всех сокровищ благословенной вашей области.

Не препятствуйте мне идти путем, которым промысл ведет меня. Я принял участие в ваших играх не в той надежде, чтобы царствовать, но чтобы снискать от вас уважение и заслужить сострадание, помощь мне возвратиться в отечество. Мне приятнее повиноваться родителю, утешить мать в ее горести, чем властвовать над всеми в мире народами. Вы видите, критяне, тайну моего сердца: я должен оставить вас, но признательность моя к вам будет вечна. До последнего дыхания Телемак не перестанет любить критян, и слава их всегда будет для него столь же драгоценна, как его собственная.

Сказал я – и вдруг поднялся смутный шум, подобный гулу на море в бурное время, когда волны с ревом крушатся об волны. Одни говорили, не божество ли перед нами в лице человека? Другие, что в иных странах видели и знали меня многие, что надлежало заставить меня принять царство. Я вновь обратился к собранию. Все умолкли, полагая, не соглашусь ли я на предложение, сначала отвергнутое. Я продолжал:

– Позвольте мне, критяне, изъяснить вам свои мысли. Вы превосходите мудростью все в мире народы, но мудрость, кажется мне, требует предусмотрительности, вами забытой. Надлежит вам избрать в цари не того, кто судит лучше других о законах, но того, кто исполняет их с постоянной доблестью. Что принадлежит до меня, то я молод, неопытен, могу сделаться игрищем страстей, мне еще свойственнее под руководством учиться начальствовать, а не теперь уже возлагать на себя бремя начальства. Не ищите вы такого, кто победил других в игре ума и в силе телесной, а такого, кто одержал победу над самим собой. Изберите себе мужа, у которого законы были бы начертаны в сердце, которого вся жизнь была бы исполнением закона. Пусть укажут его вам не слова, а деяния.

Старцы, плененные этим отзывом, внимая восторгу и новым рукоплесканиям всего собрания, говорили мне: когда боги отнимают у нас надежду быть под твоею державой, то, по

крайней мере, прими ты с нами участие в избрании царя, способного восстановить у нас царство законов. Не знаешь ли ты, кто бы мог управлять с мудрой кротостью?

– Я знаю такого великодушного мужа, отвечал я, – того самого, которому обязан всем, что вы признали во мне достойным уважения. Не я говорил вам, его мудрость говорила моими устами, он внушил мне все ответы, вами от меня слышанные.

Все собрание обратило глаза на Ментора. Я держал его за руку, исчислил все его попечения обо мне с самого младенчества, все опасности, от которых он спасал меня столь многократно, и все несчастья, находившие, как гроза, на меня каждый раз, когда я не следовал его советам.

Простое, небрежное одеяние, смиренная осанка, непрерывное почти молчание, вид его холодный и скромный сначала не привлекали к нему взоров, но здесь, при внимательном наблюдении, все заговорили, что самое лицо его показывало возвышение и силу души, дивились быстрому огню в очах его, власти, величию даже в маловажнейших действиях. Каждое слово его на вопросы усугубляло изумление. Общее мнение уже провозглашало его царем. Но он спокойно отрекся от верховного сана, предпочитая тишину частной жизни грому царского достоинства, говорил, что и лучшие цари несчастны тем, что никогда почти не делают добра, ими желаемого, а часто, ослепленные лелью, делают зло ненавидимое. Если рабство бедственно, – продолжал он, – то и царское звание не менее достойно соболезнавания: то же рабство, только под позолотой. Царь зависит от всех, кто ему нужен для исполнения его воли. Счастлив тот, кто не обязан начальствовать! Жертва свободой на пользу общественную принадлежит одному только отечеству, когда власть от него нам вверяется.

– Кого же нам избрать на царство? – спросили Ментора удивленные критяне.

– Того, – отвечал он, – кто бы знал вас – ему предложите правление вами – и кто страшился бы власти. Желаящий царского сана не ведает всей его тягости: как же он исполнит неизвестную ему обязанность? Он желал бы державы для самого себя, а вам нужен такой царь, который по одной любви к вам решился бы носить это иго.

Изумлялись, не постигая, как бедные странники могли отвергать царский венец, предмет алчных исканий. Любопытствовали знать, с кем мы прибыли. Наузикрат, приведший нас на ристалище, где были игры, указал на Газаила. И общее удивление возросло до высочайшей степени, когда открылось, что Ментор был раб Газаилов, что Газаил, пленясь мудростью и добродетелью раба, сделал его своим наперником и драгоценнейшим другом, что раб, отпущенный на волю, отринул державу, что, наконец, Газаил пришел из Дамаска в Крит для того только, чтобы узнать мудрые законы Миносовы, так его сердце горело любовью к просвещению!

Старцы говорили Газаилу:

– Мы не смеем предложить тебе царского венца, предугадывая твои мысли, без сомнения, согласные с мыслями Ментора. В глазах твоих, вероятно, так же до того презрителен род человеческий, что ты не захочешь возложить на себя бремена народоправления, и ты так беспристрастен к богатствам и славе царского сана, что не пожелаешь купить блеска ценой скорбей, неразлучных с верховной властью.

– Не думайте, знаменитые критяне, – отвечал Газаил, – что я презираю людей. Нет! Я знаю все величие подвига утверждения их в добродетели, устройства их благоденствия. Но такой подвиг исполнен трудов и опасностей. Блеск, его окружающий, – мерцание ложное, и может ослепить только слабую и тщеславную душу. Жизнь кратковременна; высокое звание не предел, а пища страстей. Я пришел сюда из дальней страны не для того, чтобы искать неверного блага, но чтобы научиться забыть превратное счастье. Будьте благополучны! Мое все желание – возвратиться в мирное и тихое уединение, где мудрость будет питать мое сердце, а надежда лучшей жизни по смерти утешит меня в труде и болезни преклонного века. Если бы еще я мог чего желать, то желал бы не царского венца, а неразлучного пребывания со своими спутниками.

Наконец, критяне, обратясь к Ментору, единогласно воскликнули:

– Скажи нам, о ты, превосходящий всех смертных величием духа и мудростью! Кому нам верить державу? Не отпустим тебя, пока не наставишь нас советом в избрании.

Ментор отвечал:

– Находясь в толпе народа, я заметил зрителя, стоявшего с непоколебимым спокойствием, старца, еще крепкого в силах. На вопрос о его имени он назван мне Аристодемом.

От многих он слышал приветствия, что сыновья его оба были в числе сподвижников. Приветствия не веселили его.

– Одному сыну, – говорил он, – я не желаю опасностей царского сана, другого, по любви к отечеству, не могу согласиться видеть на престоле.

Я заключил из того, что отец, любя одного доброго сына любовью благоразумной, не щадит пороков другого. Любопытство заставило меня узнать подробнее жизнь его. Один из ваших сограждан рассказывал мне, что Аристодем служил долго отечеству с мечом в руке и сошел с ратного поля, покрытый ранами, но наконец искренняя добродетель его, враг всякой лести, стала в тягость Идоменею, оттого он не был с ним и в Троянском походе. Человек, который мог давать ему добрые и мудрые советы, но которого советам он не имел твердости следовать, был ему страшен. Он даже завидовал славе, ждавшей его с новыми лаврами, забыл все заслуги его, покинул его здесь в нищете и презрении от малодушных невежд, измеряющих все по богатству. Но довольный и в скудости, он живет беззаботно в отдаленном месте здешнего острова, возделывая свое поле собственными руками. Сын – помощник его в домостроительстве: они нежно друг друга любят, оба счастливы и бережливостью вкупе с трудами приобрели избыток во всем необходимом для жизни в простоте нравов. Мудрый старец делит с больными и бедными соседями все, что остается у него после удовлетворения собственных потребностей, занимается юношей полезными упражнениями; он друг их, учитель, судья распрей в окрестности, отец всем, но в кругу собственного семейства несчастлив другим своим сыном, презревшим его наставления. После долгого терпения и всех попечений об исправлении его пороков, он, наконец, принужден был изгнать его из-под крова родительского: сын в безрассудном искании почестей мыслит только об удовольствиях.

Критяне! Так рассказывал мне один из ваших сограждан. Вы сами должны знать, все ли то справедливо. Но если Аристодем подлинно таков, каким мне описан, то к чему все ваши игры? К чему это многочисленное собрание чужеземцев? Среди вас человек, знающий всех вас и всем вам известный, трудолюбивый, опытный в ратном деле, знакомый не только с мечом и стрелами, но и с врагом еще ужаснейшим – с бедностью, человек, который отряс руки от даров лести, ценит пользу земледелия, ненавидит роскошь, не ослепляется пристрастной любовью к детям, любит добродетель одного сына, другого разврат осуждает, – одним словом, муж, который и теперь уже отец народа. Вот вам царь, если вы искренно желаете утвердить у себя царство законов мудрого Миноса!

Народ воскликнул: Аристодем подлинно имеет все эти свойства и достоин царствовать в Крите. Старцы велели призвать его. Он найден в толпе между последней чернью, предстал со спокойным лицом. Объявлено ему избрание его на царство. Он отвечал:

– Я не могу согласиться на этот выбор без трех условий: чтобы я мог сложить с себя правление по истечении двух лет, если не успею исправить вас и вы будете сопротивляться законам; чтобы жить мне по-прежнему с сельской простотой; чтобы дети мои не имели никакого достоинства и по смерти моей никакого отличия, а оставались в том звании, какое наравне с прочими гражданами будет следовать им по заслугам.

Сказал он – и тысячи радостных голосов загремели. Главный из старцев, блюстителей законов, возложил на Аристодема царский венец. Принесены жертвы Юпитеру и всем великим богам. Новый царь одарил нас вещами не великолепными, но по самой простоте драгоценными, вручил Газаилу законы Миносовы, писанные собственной рукой законодателя, и собрание пре-

даний о Крите от Сатурна и золотого века, велел наполнить корабль его лучшими критскими произрастениями, неизвестными в Сирии, и оказал ему все другие пособия.

Мы спешили отправиться. Приготовив для нас особый корабль с искусными гребцами и воинами, Аристомед снабдил нас одеждой и всеми нужными припасами. Поднялся между тем ветер, попутный в Итаку, но противный Газаилу. Он принужден был ожидать благоприятной погоды. Мы расстались с ним. Он обнял нас, как друзей, которых уже не надеялся увидеть.

– Боги правосудны, – говорил он, – видят нашу дружбу, основанную на добродетели, и некогда вновь соединят нас. В тех счастливых обителях, где, по сказаниям, праведные вкушают по смерти сладость вечного мира, души наши сойдутся и никогда уже не разлучатся. О! Если бы и прах мой почил с вашим прахом! – так говоря, он проливал слезы ручьями, воздыхания прерывали его голос. Мы так же плакали. Он провожал нас до корабля.

Аристомед говорил нам:

– Вы возложили на меня бремя царского звания, исчислите предстоящие мне ныне опасности. Молите богов, чтобы они ниспослали мне свыше истинную мудрость, и чтобы я был первым в своем царстве не столько властью, сколько победой над самим собой. Я же молю их, чтобы они устроили путь ваш в отечество, посрамили дерзкую гордость ваших врагов, даровали вам радость увидеть в мире Улисса на престоле с любезной его Пенелопой. Телемак, я даю тебе корабль с гребцами и воинами: употреби их против наглых преследователей своей матери. Твоя мудрость, Ментор, ничего в мире не требующая, предваряет всякое мое желание. Помните Аристодема, и если бы некогда жители Итаки возымели нужду в критянах: я друг их до последнего мгновения жизни.

Он обнял нас, мы проливали благодарные слезы.

Между тем ветер, заиграв парусами, обещал нам благополучное плаванье. Ида вдали оседала, представлялась нам уже малым холмом, берег Крита терялся, с другой стороны берег Пелопонесский выходил к нам навстречу. Внезапно черная туча разостлалась по всему небу, море закипело, день переменялся в мрачную ночь; смерть нам предстала. О Нептун! Ты грозным трезубцем возмущил воды в своей области. Венера, пылая мщением за презрение, оказанное нами ей в Цитере даже в храме ее, обратилась к богу морей. Сама печаль приносила ему устами ее горестные жалобы, прекрасные очи ее заливались слезами – так, по крайней мере, описывал мне это Ментор, проникающий божественные тайны.

– Потерпишь ли ты безнаказанно, о бог морей, поругание моей власти от этих преступников? – говорила она. – Боги чувствуют власть мою, а дерзкие смертные осмелились восхулить все, совершаемое на любимом моем острове. Надменные мнимо непобедимой мудростью, они считают любовь за безумие. Неужели ты забыл, что я родилась в твоём царстве? И ты медлишь низринуть в свои бездны двух ненавистных мне отступников?

Сказала – и тотчас Нептун поднял волны до облаков. Венера рассмеялась, обрекая нас на неизбежную гибель. Кормчий в смятении, в страхе не мог уже противоборствовать буре, мы мчались прямо на камни. От сильного порыва ветра вдруг у нас мачта переломилась. Вслед за тем слышим удары о камни, треск на дне корабля, вода со всех сторон хлынула, корабль тонет, свист ветра заглушается плачевными воплями. Я падаю в объятия к Ментору, говорю ему: предстоит нам смерть неминуемая, встретим ее мужественно. Боги для этого рокового часа избавляли нас от всех опасностей. Умрем, любезный Ментор! Погибнем! Смерть с тобой мне утешение. Бесполезно спорить с бурей о жизни.

– Истинное мужество, – отвечал мне Ментор, – всегда еще находит способ к спасению. Встретить смерть с непоколебимым спокойствием – мало, надобно стараться отразить ее с бодрым духом, со всеми усилиями. Возьмем бревно с корабля, и между тем, как толпа малодушных, сложа руки, в трепете думает сохранить жизнь одним воплем, испытаем все средства спастись.

И немедленно он берет в руки секиру, отсекает переломленную мачту, которая, свесясь, положила корабль уже набок, сдвигает совсем ее в воду, бросается на нее в разъяренные волны, зовет и меня за собой. Как великое дерево, обуреваемое со всех сторон вихрями, стоит неподвижно на корне, и вихри колышут одни только гибкие ветви, так Ментор не только бесстрашно и мужественно, но даже спокойно и кротко повелевал, казалось, морю и ветрам. Я бросился вслед за ним. И кто бы за ним не последовал по его животворному голосу?

Переносились мы на мачте с одной влажной горы на другую. Она служила нам большим пособием, можно было сидеть на ней: в борьбе с валами без отдыха скоро истощились бы все наши силы. Но бревно часто оборачивалось, мы сходили в кипящую бездну, глотали соленую пену, вода лилась у нас из носа, рта и ушей. Надлежало бороться с морем, чтобы сесть снова на мачту. Волны часто катились на нас, как бегущие горы: мы старались тогда всеми силами держаться на мачте, опасаясь, чтобы при сильном потрясении не лишиться и последней надежды.

Посреди всех ужасов Ментор, так же спокойный, как теперь здесь на мягкой траве, говорил мне:

– Думаешь ли ты, Телемак, что жизнь твоя предана в жертву волнам и вихрям? Думаешь ли ты, что они могут погубить тебя без мановения свыше? Нет! Боги всем управляют, и должно бояться богов, а не моря. Сойдешь ли ты в бездну недостижимую – рука Юпитера сильна исхитить тебя из бездны. Вознесешься ли ты выше Олимпа, будешь звезды считать под ногами – Юпитер может низринуть тебя в бездну или в огонь мрачного Тартара.

Я слушал его с удивлением и чувствовал в сердце отраду, но не имел еще столько присутствия духа, чтоб отвечать ему. Ни он не видел меня, ни я не мог его видеть. Так провели мы всю ночь, полумертвые от стужи, не зная, куда занесены стремлением вихрей. Наконец буря и воды улеглись, море еще стонало, но уже было подобно человеку, утомленному порывами гнева и являющему слабый только остаток внутренней смуты. С ропотом расстилались усталые волны, как на поле борозды, проведенные плугом.

Между тем Аврора, отворив солнцу врата неба, возвестила нам день ясный и тихий. Восток загорелся, звезды, закрытые до той поры тучей, показались, но тотчас и побежали от Феба. Вдали мы завидели землю и приближались к ней по направлению ветра. Луч надежды блеснул в моем сердце. Но мы не усматривали никого из своих спутников: все они, вероятно, упав духом, пошли с кораблем на дно моря. Недалеко уже от берега волны бросали нас прямо на острые камни, где также неизбежная смерть ожидала нас: мы старались оградиться от них концом своей мачты, и Ментор действовал ею, как искусный кормчий действует лучшим рулем. Обогнули мы таким образом страшные груды, достигли безопасного, ровного места и плыли уже спокойно до самого берега. Там ты увидела нас, великая богиня! Там ты удостоила нас гостеприимства.

Книга седьмая

Калипсо влюблена в Телемака.

Телемах влюблен в нимфу ее, Эвхарису.

Ревность Калипсо. Борьба в сердце Телемака.

Страсть преодолевает в нем здравый рассудок.

Ментор избавляет его от рабства любви.

Во все продолжение повести нимфы, неподвижные от изумления, не сводили глаз с Телемака: тут взоры их встретились. Одна другую они с удивлением спрашивали:

– Кто эти любимцы богов? Когда и с кем были столь чудные происшествия? Сын Улиссов превосходит уже и ныне отца своего умом, витийством и мужеством. Какой вид! Какая красота! Какая скромность, приятность, и какое при том благородство, величие духа! Если бы мы не знали, что он сын смертного, приняли бы его за Вакха, за Меркурия, за самого Аполлона. Но кто этот Ментор, старец, с первого взгляда обыкновенный, низкого, безвестного рода? Посмотришь на него ближе – видно в нем сквозь покров простоты что-то выше природы человеческой.

Калипсо слушала их речи с непреодолимым смущением в сердце: глаза ее непрестанно блуждали, перебегая от Ментора к Телемаку. То убеждала она Телемака продолжить рассказ о его странствовании, то, сама прерывая свои вопросы, вдруг умолкала. Наконец встала, пошла с ним в дубраву и там, под тенью миртов, истощала все средства узнать от него, не божество ли Ментор во образе человека? Он не мог рассеять ее сомнения. Минерва, спутница сына Улисса в лице Ментора, по юности его не вверяла ему своей тайны, не надеялась еще на скромность его до такой степени, чтобы открыть ему свои намерения, и желала притом испытать его в величайших опасностях. Если бы он был уверен в сопричастии Минервы, то, возлегши на столь крепкую руку, в ничто вменял бы ужаснейшие бедствия. Таким образом, он видел в Менторе друга, а не Минерву, и все коварство Калипсо осталось тщетным: не достигла она своей цели.

Между тем нимфы, окружив Ментора, задавали ему вопрос за вопросом. Одна любопытствовала знать все подробности его путешествия по Эфиопии, другая хотела слышать описание Дамаска, иные спрашивали, знал ли он Улисса до осады Трои. Он отвечал им с кротостью на все вопросы; ответы его при всей простоте были пленительны.

Ненадолго Калипсо оставила их в беседе, возвратилась, и между тем как нимфы, собирая цветы, старались песнями развеселить Телемака, она, устранившись с Ментором, хитрым разговором хотела вовлечь его в сети. Волшебные чары сна не смыкают утомленных очей, и изнуренных от труда членов не усыпляют с такой сладостью, с какой прелестные слова Калипсо лились в его сердце. Но она чувствовала силу, которая, играя коварством ее лести, отражала все ее стрелы. Подобно скале недоступной, одетой мрачной мглой и над свирепством вихрей смеющейся, Ментор, непоколебимый в мудрых предначинаниях, со спокойной твердостью слушал ее убеждения. Иногда она, преследуя его вопросами, надеялась уже похитить истину из его сердца, но в то самое мгновение, как она думала быть уже у цели, надежда ее исчезала, все из рук ее вдруг вырывалось. Кратким ответом Ментор погружал ее в прежнее недоумение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.